

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ

На повороте

1981
ГОРЬКО И СОУДАТ

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ

НА
ПОВОРОТЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА . 1955

МОЕМУ НЕИЗМЕННОМУ ДРУГУ И ТОВА-
РИЩУ, ТЕРПЕЛИВОЙ И ВЕЛИКОДУШНОЙ
СПУТНИЦЕ МОЕЙ ТРЕВОЖНОЙ ЖИЗНИ,
ОЛЬГЕ БОРИСОВНЕ ЛЕПЕШИНСКОЙ
ЭТОТ ОЧЕРК ПОСВЯЩАЮ.

П. ЛЕПЕШИНСКИЙ

17 июня 1921 г.

К 4-му ИЗДАНИЮ КНИГИ П. Н. ЛЕПЕШИНСКОГО «НА ПОВОРОТЕ»

Интерес читателей к воспоминаниям П. Н. Лепешинского, одного из старейших большевиков, вполне объясняется правдивостью, искренностью, художественной зоркостью их автора, исторической значимостью описываемых им событий. Полоса эта — от конца 80-х годов до первого глубинного революционного взрыва 1905 г. — была именно «поворотом», знаменующим переход от раздроблённых социал-демократических кружков к созданию несокрушимо-прочного фундамента великой Коммунистической партии.

Миллионы людей ныне с особой ясностью видят, как много было сделано гением пролетарской революции В. И. Лениным на этом труднейшем «повороте» и на последующих исторических этапах развития нашей славной партии. С этой точки зрения воспоминания П. Н. Лепешинского, неразрывно связанные с именем великого Ленина, ещё долгие годы будут вызывать интерес читателей.

Все мы, товарищи и современники П. Н. Лепешинского, можем единодушно засвидетельствовать, что в его лице мы имели человека, глубоко одарённого, безупречно честного и до конца преданного делу партии. Эти особенности автора и явились прочной гарантией ценности его воспоминаний.

П. Н. Лепешинский правильно подчёркивает, что соратникам В. И. Ленина при воспоминаниях о нём надо

избегать «иконографической» характеристики Ленина, который по всем своим личным особенностям не нуждается в каких бы то ни было прикрасах. Гениальность Ленина не мешала ему быть «простым, как сама правда».

Классики нашей художественной литературы наглядно показали, что творчество художника связано с нахождением удачных «деталей». Перечитывая зарисовки П. Н. Лепешинского, мы можем отметить, что многие из них свидетельствуют об удачных находках именно таких «деталей», которые успешнее всякого рода отвлечённых рассуждений дают нам почувствовать несравненное обаяние личности живого В. И. Ленина. В этом — главная ценность воспоминаний П. Н. Лепешинского.

Весьма удачной нам представляется и характеристика Г. В. Плеханова и, в особенности, периода его заката, его перехода в лагерь меньшевизма. Немало правдивых черт дано и во многих других зарисовках людей и нравов знаменательной эпохи «поворота».

Последнее издание книги П. Н. Лепешинского вышло в 1935 г. В настоящем (четвёртом) издании сделаны небольшие сокращения, которые казались нам полезными для того, чтобы сосредоточить внимание читателей на наиболее существенном и бесспорном.

Академик Г. М. Кржижановский



ГИМНАЗИЧЕСКИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

«А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой».

Лермонтов

Родился я в 1868 г. Семья отца, захолустного деревенского священника, благодаря обилию «приращений» (мать произвела на свет около полутора дюжин детей) и несмотря на недурную работу костлявой старухи с косою в руках, мало-помалу превратилась в большую своего рода «задругу». Я был старшим из числа оставшихся в живых детей и имел счастливую привилегию быть предметом суетных молодых мечтаний родителей о выведении меня в люди через посредство классической гимназии, вопреки всем традициям и финансовым возможностям многочадной поповской семьи, обычно предопределяющим для каждого деревенского попovichа скромное его прохождение через все дантовы чистилища бурсы и духовной семинарии.

И вот меня, девятилетнего ребёнка, «на славу» тренированного и подготовленного, отвозят далеко-далеко от родного дома в шумный, пугающий детское воображение, город (Могилёв-на-Днепре), где и вверяют со всеми моими счастливыми и несчастными потенциями не внушающему никаких опасений опыту гимназических педагогов.

Учился я в гимназии, нужно правду сказать, довольно-таки скверно (не по недостатку способностей, а скорее потому, что вследствие отсутствия учебников, приобретение которых было не по карману отцу, я скоро усвоил себе дурную привычку приниматься за приготовление

уроков только по приходе в класс), но вёл себя вполне благоприлично, за исключением, быть может, одного лишь случая, когда несчастная страсть к карикатурам на учителей чуть было не привела злополучного четырнадцатилетнего карикатуриста к катастрофическим последствиям.

Как бы то ни было, однако в 1886 г. я покинул гимназию 18-летним юношей с аттестатом зрелости в кармане.

Уже в этот гимназический период жизни сквозь толщу религиозных предрассудков, всосанных вместе с молоком матери, и обывательского кодекса мещанской морали, преподанного всей окружающей средой, в моё подрастающее миросозерцание всё чаще и чаще начинают врываться дерзкие, бунтарские мысли.

Правда, даже в VIII классе гимназии я наивно верил ещё, что благополучие моих выпускных экзаменов в большей мере зависит от доброй воли великомученика и целителя Пантелеймона (моего патрона); но эти религиозные настроения каким-то образом уживались с тем увлечением, которое я испытывал при чтении попадавшего в руки контрабандным путём томика Добролюбовских сочинений, и с тем почтительным уважением к дарвинской теории, которое было мне внушено знакомством с нею по писаревскому «Прогрессу в мире животных и растений».

Известно, что представляла гимназия 80-х годов. Латинский и греческий языки в качестве специфически кретинизирующего гимназическую молодёжь средства, — с их этимологическими и синтаксическими тонкостями, с их засоряющими ум ученика бесконечными исключениями из правил и с ненавистными переводами (*extemporalia*) с русского на латинский или на греческий; чрезвычайно нервующая учащихся угроза колами и двойками; мракобесие классных наставников и их свирепая расправа с любителями чтения, не удовлетворявшимися гимназической библиотекой и получавшими книги из городской публичной библиотеки; внезапное посещение теми же воспитателями квартир учеников, причём горе тому несчастному, у которого на столе или в шкафу оказалась бы во время таких посещений запретная литература вроде, например, Щедрина или Белинского, не говоря уже о Добролюбове, Писареве или Чернышевском; бесконечные формы издевательства над личностью ученика и т. д. и т. д. — обо всём этом уже писалось и много может порассказать любой из современников, сам испы-

тавший в своё время прелести гимназической муштры в период наиболее свирепой общественной реакции в России.

И всё же, как ни мрачны и неприглядны краски, которые приходится набирать на палитру, когда собираешься живописать эти годы медленного прохождения через школьную голгофу, кисть невольно тянется к небесно-голубым и нежно-розовым цветам, чтобы на тёмный фон картины бросить несколько радостных, тёплых бликов.

Вспоминаются кружковые «нелегальные» собрания. Юные, чистые, искрящиеся глаза. Молодой заразительный смех. Споры до хрипоты голосов. Затягивание «Дуби-нушки». И немножко, немножечко невинного флирта...

И злодей, весь обрызганный кровью,
Вдруг упал на колени пред ней,—
Перед первой своею любовью...

Сашка Шпунтов декламирует столь величественно, с таким видом народолюбца, прочувствовавшего до глубины души великую трагедию исковерканной жизни «одного из малых сих», что у всей компании, в особенности же у женской половины её, кровь горячее приливает к сердцу, заставляя его биться ускоренным темпом.

Один только Ванька Силинич, с большим успехом избравший себе амплу «циника» и «реалиста» до мозга костей, по обыкновению вносит дисгармонию в создавшееся общее настроение.

— Бывает,— бросает ироническую реплику он.— Ежели «злодей» в подпитии, то не то, что перед «любовью», а и перед уличным фонарём норовит повергнуть себя в прах...

Гром и молния! Повод к войне налицо, и словесная битва между лагерем (гораздо более многочисленным) «идеалистов», под предводительством великолепного Сашки Шпунтова, и небольшой кучкою «реалистов», группирующихся около Ваньки Силинича, возгорается тут же немедленно с ураганной силою.

Идеалисты не могут простить реалистам пренебрежительного отношения к человеческому достоинству меньшего брата, хотя бы то был и жалкий каторжник-бродяга, считая это отношение признаком неизжитого ещё барства и стремления к аристократизму духа, а реалисты доказывают, что аристократизм духа здесь не при чём и

что бродяга бродяге рознь: одно дело такой — тоже ведь каторжник и бродяга — как Емельян Пугачёв, а другое дело рафинированный бродяга, измышлённый сентиментальным воображением российского поэта, который, кстати сказать, весьма комфортабельно обставил плотскую сторону бытия своей мученической музы.

Как ни хорош со своим пафосом Сашка Шпунтов, но мне больше нравится насмешливая и трезвая мысль Ваньки Силинича. Я целиком становлюсь на его точку зрения.

И когда, наконец, охрипшие голоса один за другим начинают умолкать, появление на блюде ветчины, нарезанной аппетитными ломтиками, приводит всех в блаженно-приятное состояние.

И хотя Сашка Шпунтов, сохраняя присущую ему стильность, мрачно бросает в пространство —

Эх ты, жизнь жёлтая,
Жёлтая, проклятая...

но все очень хорошо чувствуют, что на самом деле жизнь, чорт возьми, прекрасна и что даже Сашка Шпунтов глядит на неё, «жёлтую и проклятую», через самые настоящие розовые очки.

Наступило время отъезда в Питер. Портной Мойша из соседнего местечка состряпал немножко старомодным фасоном, но всё же чрезвычайно льстивший моему самолюбию штатский костюм. Упитанный, за лето отъевшийся, полный розовых надежд на роскошные перспективы в ближайшем будущем, начинённый наставлениями матери о необходимости сторониться всякого рода социалистов (или «жуликов», по выражению бабушки, которая при этом уверяла, что однажды в дороге один из таких «специлистов» слимонил у неё кошелёк с пятирублёвкой), я, наконец, совершаю длинное путешествие на лошадях до Витебска и добираюсь до таинственной «чугунки», которую вижу впервые. Немного разочарованный, мчусь в поезде. Я ожидал более головокружительного эффекта.

А вот и она, прекрасная «Северная Пальмира». И стройные громады дворцов, и «Невы державное течение», и «береговой её гранит» — одним словом всё именно так, как об этом приходилось читать и в прозе и в стихах.

Я быстро ориентируюсь в новой обстановке и втягиваюсь в студенческую жизнь. Но не могу помянуть добрым

словом медовые месяцы моей студенческой свободы. Посещение полулегальных вечеринок, постоянные забега-ния «по дороге» «на одну минутку» к приятелю или приятельнице, безрезультатные публикации в газетах с предложением своих репетиторских услуг в качестве специалиста по всем предметам гимназического курса, бесцельное хождение взад и вперёд по длинному университетскому коридору в ожидании того момента, когда педель отметит в своей книжке, кто посетил в данный день университет, судя по висящим на своих местах в вестибюле шапкам и шинелям, простаиванье по ночам в очереди около кассы Мариинского театра в расчёте на удачу по части получения галёрочного билета на Мравину в «Рус-лане и Людмиле» — все эти дела и заботы целиком по-глощали «дни нашей жизни», так что, казалось нам, — «дохнуть некогда».

Впрочем, некоторый вкус к радикализму, приобретён-ный ещё на гимназической скамейке, и здесь толкал меня в хорошую компанию передовых публицистов 60-х годов. Писарева, полное собрание сочинений которого я нашёл в книжном шкафу одной знакомой семьи, я не только про-чёл всего от первой до последней страницы, но некоторые его статьи перечитывал с неубывающим наслаждением по несколько раз. Это был для меня период полной влюб-лённости и обоготворения моего литературного кумира, властителя моих дум.

Помню, как, будучи уже 19-летним парнем, я был так ещё младенчески наивен, что вообразил, будто небреж-ность и недостаток доброй воли мешают издателю писа-ревских сочинений Павленкову озаботиться переизданием этого моего «евангелия», ставшего в то время большой библиографической редкостью.

И вот, я вознамерился отправиться к Павленкову с тем, чтобы «раскачать» его на это нужное и общепольное дело. Я заготовил целый мешок аргументов, которые должны были, по моему мнению, парировать все его воз-ражения, если он станет ещё почему-либо колебаться и упорствовать, — в том числе и аргумент в пользу коммер-ческой выгоды такого издательского предприятия. Если, дескать, он сомневается в том, найдутся ли, мол, в доста-точном числе подписчики на издание, то я готов был с своей стороны предложить свои услуги для объезда ряда городов, чтобы распропагандировать новое издание среди

учащейся молодёжи (семинаристов и гимназистов старших классов), причём в колоссальном успехе такого рода миссии я нисколько не сомневался.

Когда с этими мыслями и с трепетно бьющимся сердцем я вошёл в издательскую контору Павленкова, то застал там среди груды книг двух каких-то солидных представителей фирмы. И большое спасибо им! Мой наивный вздор не вызвал на их лицах весёлой улыбки, не исторг из их груди гомерического смеха. Один из них выслушал меня внимательно, с ласковой серьёзностью, и с такой же серьёзностью пояснил мне, что переиздание сочинений Писарева задерживается не опасениями холодного приёма этого издания читающей публикой, а исключительно лишь цензурными препятствиями. Пристыженный и опечаленный я вышел оттуда.

Однако моё знакомство с идеями Писарева и Чернышевского вовсе ещё не означало того, что я сколько-нибудь сознательно мог реагировать на редкие в то время революционные всполохи, которые последними огнями прорезывали на минуту густой мрак, нависший над унылым кладбищем русской общественной жизни.

Неудавшееся покушение на Александра III весной 1887 г. было именно одной из таких ярких, но бесследных вспышек. На другой день после раскрытия заговора все студенты университета были приглашены в актовый зал. Пользовавшийся популярностью среди студенчества ректор Андреевский взял на себя весьма неблагодарную задачу искупительной речью перед толпой студентов продемонстрировать правительству лояльность этой толпы и отвести, таким образом, жестокий удар правительственного кулака, занесённого, как многим тогда казалось, над несчастным университетом, из недр которого вышли Александр Ульянов, Генералов и другие действующие лица разыгравшейся драмы.

Правда, в этой репильной речи не было грубо-отвратительного (в духе нововременской печати) глумления над теми, кто гордо стоял уже на пороге смерти, жизнью расплачиваясь за свою безумно смелую попытку оглушить самодержавное чудовище, — иначе ведь вместо «реабилитации» университета могла бы получиться совершенно другая картина — взрыв негодования молодёжи со всеми последствиями такого реприманда. Но искусный эквилибрист мастерски успел усыпить политическую со-

весть студенчества и заставил толпу рукоплескать патетическим местам его соловьиной песни, в которой очень музыкально звучали жалобы на то, что «они, несчастные, не пожалели своей alma mater, которая так доверчиво приютила их у своей материнской груди, они не подумали о тех своих товарищах, которые пришли сюда, гонимые духовною жаждою, к кристальному источнику чистой науки» и т. п. Время от времени на протяжении этой речи раздавались протестующие свистки, что ещё более подмывало остальную часть собрания бешено рукоплескать по поводу козырных мест профессорских lamentаций.

Пишущий эти строки хотя и не рукоплескал вместе с остальными Митрофанушками в студенческих сюртуках и мундирчиках, но в то же время считал неуместными и свистки... Ведь ради же нас, мол, распинается человек... Так чего уж тут!..

Годы, о которых здесь идёт речь, были, повидимому, кульминационным пунктом самого мрачного периода кошмарной реакции. Разгром народовольчества после 1 марта 1881 г. обезлюдил революционное поле. Мало-помалу на том месте, где ещё так недавно бился пульс своеобразной жизни, водворилась такая мерзость запустения, которая гнетущим образом действовала на умы подрастающей интеллигенции. Нигде не видно было новых вождей, новых пророков борьбы. Зарубежные голоса группы «Освобождение труда» чуть слышным эхом долетали лишь до ушей редких одиночек. Эпигоны народничества или совсем приумолкли или понизили тон до заискивающего присюсюкивания — до признания за «прогрессивной» бюрократией великой миссии возродить Россию и вывести её из тупика реакции. Из всех щелей либеральной прессы поползла отвратительная плоская проповедь приоритета малых дел. Нелегальная литература почти перестала.

Немудрено, поэтому, что всё внимание недовольных студенческих масс было сосредоточено вокруг вопросов чисто университетских. Отмена устава 1884 г. и возвращение академической жизни университетов к старому уставу 1864 г. стали лозунгом, объединившим всё студенчество и вызвавшим волну студенческих движений в конце 1887 г. и затем весною 1890 г.

Как ни бледны, как ни незначительны были сами по себе эти «шквалы», представлявшие тогда единственные

факты возмущения тихой болотной поверхности русской жизни, но они всё-таки как будто освежали удушливую атмосферу, а главное — они имели значение толчков, выведших интеллигентскую молодёжь из состояния летаргического сна и бросавших некоторую часть её на путь революционных буффонад, а иногда даже и подлинной революционной борьбы.

Первая студенческая история, в которую втянулся и я, была для меня своего рода революционным крещением. Я, так сказать, разлакомился, отведав новых для меня переживаний. У меня получилась психологическая тяга к атмосфере если не систематической борьбы, то, по крайней мере, упорного «саботажа» по отношению к тому порядку вещей, который, как казалось, олицетворяется не только тем или иным «популярным» героем реакции сверху, но и любым «фараоном», торчащим на своём полицейском посту.

Я стал примыкать к разным кружкам, где пахло в той или иной мере духом оппозиции. В кружках этих молодёжь хваталась за всё, что имело хоть какую-нибудь внешность нелегалщины. Усердно переписывались и с жадностью читались ходившие по рукам экземпляры рукописей «Исповеди» Л. Толстого, а также его «Крейцеров соната», «Евангелие», «Николай Палкин» и т. п. — наряду с «Историческими письмами» Миртова и известной книжкой Кеннана, раскрывавшей перед нами тайны русских политических тюрем, ссылки и каторги и заставлявшей наши лица бледнеть от негодования. Когда же к нам попадали листовки с сообщением о каком-нибудь очередном кошмарном зверстве ненавистных палачей, вроде, например, трагедии на Каре, многие из нас под влиянием прочитанного готовы были хоть сейчас же на самую отчаянную террористическую авантюру, если бы только под рукой оказалась соответствующая организация. Но, повторяю, ни террористических организаций, ни крупных вождей такого рода борьбы в те времена вокруг нас не было.

В этот период моей жизни для меня пророком был некто Н. А. Орлов. В его лице я видел идеал революционной одухотворённости. Худой, бледный, с полунахмуренными бровями, из-под которых сурово смотрели большие, зеленовато-серые глаза, вечно волнующийся по поводу каких-нибудь ярких картин из области всероссий-

ских безобразий, до фанатизма готовый исповедывать унаследованный им от старого народовольчества символ веры — таков был мой кумир. Кстати сказать, много лет спустя, я встретил моего Орлова в виде уравновешенного, примирившегося с «разумной действительностью» и вполне «поумневшего» жреца при алтаре «чистой науки», поставившего интересы своей физической лаборатории выше всяких революционных «бредней».

Но в описываемое время это был ещё юноша-энтузиаст. И мы, члены кружка, охотно разделяли его умонастроения. Впрочем, наша «революционная» актуальность, помимо изучения «Очерков политической экономии по Миллю», выражалась ещё в попытках самого примитивного, детски наивного кустарничества. Помнится, например, задумали мы отметить какой-то юбилейный момент в связи с именем Чернышевского выпуском в свет собственного нашего «издания». Решено было издать биографию Чернышевского, предпослав ей нашу «филлипику» по адресу палачей в форме патетического стихотворения. И вот, заработала конспиративная машина. В результате — около полусотни плохоньких гектографированных экземпляров с портретом Чернышевского на обложке пошло гулять по белу свету, ища своих читателей.

Студенческие волнения 1890 г. застали меня уже созревшим «воякой». Все земляки мои, умеренные и аккуратные могилёвцы, охотно или неохотно, но во всяком случае молча и беспротестно подчинили свою волю моей боевой инициативе, причём я постарался использовать своё влияние на них так, чтобы ни один шельмец не ускользнул от участия на сходках. И действительно, наше землячество не опозорило себя. Правда, наша «Белоруссия» (белорусское землячество) и на этот раз с честью поддержала свою репутацию типичной золотой середины, но дезертиров среди нас не оказалось.

Что же касается меня, то я чувствовал себя на этот раз, что называется, в своей тарелке: бегал по другим учебным заведениям, агитируя технологов, путейцев и прочую братию на совместные с универсантами выступления, принимал участие в таинственных совещаниях «центров» движения, ораторствовал на сходках. В результате — снова манеж после финальной (или «генеральной», как тогда говорилось) сходки, классическая «Дубинушка»,

подхваченная тысячной толпой пленённой молодёжи, и отсидка затем по полицейским участкам. Моя вина была квалифицирована как сугубая, ввиду чего я был исключён из университета без права обратного поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Через 24 часа по выходе из участка я был посажен «дядькою» (охранником) в вагон и выслан из Петербурга.

Любопытно отметить, что незадолго перед арестом я получил от факультета удостоверение о зачитании всех 8 семестров, что давало мне право держать государственные экзамены, но «волчий билет», выданный инспекцией университета, оказался более «законным» документом, чем факультетское удостоверение, и только впоследствии, через год, мне удалось всё-таки держать экзамены и получить диплом при другом университете (Киевском).

Не могу удержаться от искушения подвести итог сказанному мною о моих студенческих годах.

Примером моего студенческого прошлого можно с большим удобством оперировать как иллюстрацией того реакционного затишья, того безвременья, которое относится ко второй половине 80-х годов. Тут налицо типичный юноша-разночинец, который жадно питается освободительными идеями 60-х годов с их проповедью личной эмансипации, с их нигилистической оппозицией против всякого рода и вида авторитарности, с их рационалистическими тенденциями и с их уклонами в сторону утопического социализма. Вокруг — непроглядная темень. Последние вспышки революционного единоробства с царизмом гаснут, как случайные искры во мраке ночи. Нет ни вождей, ни сколько-нибудь крупных в качественном и количественном отношении революционных организаций. Десять лет раньше этого юношу подхватила бы, по всей вероятности, революционная народническая волна и, быть может, увеличила бы на лишнюю статистическую единицу цифру жертв какого-нибудь грандиозного политического процесса. Десять лет позже он от Писарева и Чернышевского (отдавши дань годам детских увлечений) быстро бы эволюционировал к Марксу и Энгельсу. Но в описываемое время в этой полосе мёртвого штиля не было налицо захватывающих стихий. В результате — политический недоросль разделяет судьбу таких же эмбрионов, как и он, барахтается в атмосфере полного разброда и растерянности в умах подрастающей интеллигенции,

пришедшей на смену прежнему поколению суровых борцов, «взыскует» вместе с нею какой-то великой, мировой правды, ищет даже ответов на «проклятые вопросы» в мистике Льва Толстого, отдаётся с увлечением жалкому революционному крохоборству и находит лучший выход для своего буйного, протестующего духа в борьбе за академический устав.

Тем не менее зерно бунтарского отношения к окружающей действительности — к устоям мещанского уклада и обывательской морали — было заброшено в души многих сотен и тысяч питомцев и питомиц высшей школы того времени. Не всегда это зерно прорастало сквозь толщу разочарования и отчаяния, которые охватывали юношу или молодую девушку при вступлении из романтической обстановки студенческой жизни на стезю прозаической борьбы за существование, стоявшей под знаком 20-го числа¹, но в некоторых случаях это зерно проросло и впоследствии дало соответствующие плоды.

Я, повидимому, оказался в смысле «неблагонадёжности» навсегда попорченным. Годы моего студенчества предопределили моё дальнейшее политическое и общественное лицо. Не буду подсовывать читателю подробного описания последующих 3—4 лет моей бродячей жизни, полной эпизодов жестокой борьбы за существование. В качестве «неблагонадёжного» я лишён был права не только использовать свои дипломные права в качестве учителя, но и вообще где бы то ни было «служить». Мне вспоминается, как в 1891 г. я снова попал в Петербург и тщетно искал какого-либо заработка. Питался картошкой (да и то не каждый день). За неимением освещения в своей отвратительной каморке по вечерам уходил в ресторан Доминика, где просиживал долгие зимние часы, глядя от нечего делать на шахматных игроков или на игру в «пирамидку». Мой глаз до такой степени привык к этому последнему зрелищу, что я, никогда не державший бильярдного кия в руках, мог всегда с первого взгляда по достоинству оценить ситуацию партии и предсказать, какой заказ сделает хороший игрок.

В начале 1892 г. я не выдержал испытаний судьбы и бежал из «центра культуры» на окраину — в мёртвый,

¹ 20-е число в учреждениях дореволюционной России было днём выдачи жалованья служащим.

сонный городишко на берегу Чёрного моря, именуемый Севастополем, благо у меня оказался там дальний родственник и однофамилец, крупный работник в управлении Лозово — Севастопольской железной дороги, куда и я, благодаря его протекции, пристроился на 30 рублей в месяц в качестве конторщика.

Интересный был человек этот мой покровитель Василий Павлович, и о нём бы мне хотелось сказать несколько слов. Это был старый народник, обаятельная личность которого производила сильное впечатление на каждого, кто имел случай близко к нему подойти.

Хотя он далеко ещё не был ветераном в то время, когда я впервые с ним познакомился по приезду в Севастополь (ему было не более 36—37 лет), тем не менее он уже пережил свою полосу революционной лихорадки и, обременённый семьёй, считал себя окончательно выброшенным на обывательскую мель. Когда-то он играл довольно видную роль среди народников южной организации (если не ошибаюсь, под кличкой «Василька»), и его имя фигурирует в народовольческом календаре, но арестованный (кажется, в Одессе в 1882 г.), он случайно лишь не был оговорён полусумасшедшим предателем Гольденбергом, выдавшим всю группу, так что дёшево отделался только лишь 9-месячной высылкой в Одесской тюрьме и затем был отдан под гласный надзор полиции.

Разделяя судьбу очень многих «последних из могикан» сходившей со сцены революционной плеяды, он, подобно другим своим сотоварищам, почувствовал, что прежние революционные иллюзии изжиты, что почва ускользнула из-под его ног, что, отдав лучшие годы своей жизни революционным стихиям, он с тоскою в сердце должен отойти от этих стихий, признав банкротство своих сил, надежд и идеалов.

Но отойдя от опустелого и усеянного мёртвыми костями поля недавних битв, он с тем большим упорством старался сохранить от разрушительного действия новых волн жизни выработанное и выстраданное им мировоззрение, характеризующее типичнейшего идеалиста 70-х годов, пропитанного политическим радикализмом. Впоследствии, будучи помощником небезызвестного дельца и беззастенчивого карьериста Хорвата, он ещё раз отдал дань своей революционной природе во время бурных

гроз 1905—1906 гг., за что и поплатился затем двумя годами высылки в Харбинской тюрьме. В 1916 г. он умер.

В описываемый же момент его можно было изредка видеть одухотворённым, помолодевшим на несколько лет, возбуждённым наркотиками горячих споров на «жгучие» темы современности или взвинченным воспоминаниями былых славных времён лишь в узком кругу таких же ревнивых хранителей старых настроений и милых сердцу реликвий прошлого, как и он сам. Компания собиралась обыкновенно у симпатичных сестёр Бальзам, куда время от времени заглядывали приезжавшие из окрестностей Севастополя Перовский (брат Софьи Перовской, имевший вид опростившегося толстовца) и Николай Ильич Емельянов, тоже старый народник в отставке с львиной седой головой. И эти интимные собрания тщательно оберегались от постороннего нескромного взора и посторонних ушей, но вовсе не потому, что это требовалось условиями строгой конспирации, а скорее всего по той причине, что члены кружка боялись всякого неосторожного прикосновения к их консервированному мирозерцанию, боялись грубой профанации дорогих им психологических ценностей, не растерянных зря во время путешествия по житейским пустыням.

Я был вхож в этот кружок, но особенного пиетета по отношению к нему у меня не было. Во мне было достаточно молодых сил, чтобы не удовлетворяться этой старческой, как мне казалось, атмосферой платонических устремлений духа в идеальное царство всеобщей правды и справедливости или благоговейных воспоминаний о безвозвратном прошлом. Меня более тянуло к живой, хотя и бедной яркими красками, окружающей действительности, что иногда шокировало моих друзей.

Помню, например, как однажды я из «скромного молодого человека» превратился вдруг в неприличного авантюриста и «потрясателя основ». Мне не понравилось, извольте видеть, что рабочий день в нашем отделе (в службе контроля сборов) был растянут с 10 часов утра до 9 часов вечера с трёхчасовым перерывом на обед и послеобеденный отдых. И вот на мне лежит полностью грех, что я спровоцировал и развратил привыкших к такому порядку вещей своих, казалось, не способных к противлению злу безропотных товарищей по служебной лямке и подбил их

на коллективное выступление с требованием отменить вечерние занятия.

Я очень хорошо чувствовал и видел, что в глазах солидных членов нашего кружка я много теряю, как скандалист и озорной мальчишка, променявший драгоценные крупницы мировой скорби и гордого презрения к первоисточникам социального зла на чечевичную похлёбку мелочной будничной борьбы за «улучшение быта» в своём трудовом муравейнике.

Зато та мелкая братия, которая раскачалась на войну, преодолев трусливое, фетишистское отношение к предрешающим властям, которая окрылила свой дух надеждою на более сносное человеческое существование и впервые познала радость борьбы с всемогущим, казалось бы, работодателем,— эта мелкая братия смотрела на меня, как чуть ли не на своего «Спартака»...

Нечего и говорить, что для меня стало долгом чести не провалить своей игры. И я победил. Наше железнодорожное начальство, застигнутое врасплох столь неслыханно-дерзостным выступлением управленских рабов, почему-то растерялось и пошло на уступки. Наш рабочий день был сокращён на 2 часа.

После этого, преисполненный гордого чувства удовлетворения, окружённый атмосферою самых тёплых симпатий со стороны моих сослуживцев, выслушав от них на вокзале при прощании кучу лестных для меня речей с частым упоминанием о «божьей искре», которая якобы ярко горит в моей душе, «реабилитированный», наконец, в глазах самого Василия Павловича (победителя, ведь, не судят), я уехал из Севастополя на родной север снова искать, где «оскорблённому есть чувству уголок».

Впоследствии я получил от своих севастопольских товарищей и соратников по борьбе фотографическую карточку, где снялась вся группа протестантов. Посвящённое мне на карточке стихотворение, в котором наивно, но мило звучало всё то же «крылатое словцо» об «искре божьей», растрогало меня до глубины души. Я очень дорожил этой реликвией, но во время одного из обысков жандармские заgreбастые руки лишили меня её.



ПЕРВАЯ СЕРЬЁЗНАЯ ПРОБА СИЛ

(1894—1895 гг.)

Как волка ни корми, а он всё
в лес смотрит.

Русская пословица

Осенью 1894 г. я снова потянулся в Петербург и снова стал толкаться в двери всевозможных канцелярий: не нужен ли, мол, работник? После долгих тщетных поисков какой-нибудь работы, выслушав десятки холодных ответов из разных превосходительных уст с выражением сожаления по поводу неимения свободных вакансий, я нашёл, наконец, такой архаический чиновничий уголок, куда, на моё счастье, позднее, чем в другие учреждения финансового ведомства, дошёл приказ о наборе чиновников с высшим образованием. Таким уголком оказалась так называемая Государственная комиссия погашения долгов (или «накопления долгов», как в шутку говорили некоторые остряки). Я как раз во-время подоспел со своим университетским дипломом в это богоспасаемое учреждение и был принят на одну из маленьких должностей на 30 рублей в месяц.

Впрочем, привилегированное положение для меня в этом учреждении было predetermined моим образовательным ценом, так что, взбираясь со ступеньки на ступеньку по иерархической лестнице и каждый раз получая при этом прибавку к жалованью в 5 или 10 рублей, я на протяжении нескольких месяцев прошёл через множество этих ступенек, стал получать уже по 100 рублей в месяц и приобщился, таким образом, к нижним слоям аристократической верхушки нашей чиновничьей пирамидки. Словом, передо мною расстилался открытый путь к «голо-

вкружительной» карьере, если бы не перст судьбы, от которой, как известно, никуда не уйдёшь.

Должен, однако, тут же оговориться, что в объяснение своих быстрых служебных успехов я не имею ни малейшего нравственного права сослаться на наличие каких-нибудь таких во мне достоинств, которые в глазах моего начальства могли бы быть отмечены с положительной стороны. Я долгое время приводил в отчаяние своего столоначальника неумением быстро ориентироваться в том, где уместно написать «прошу», а где «предлагаю», предпочитал употребление указательных местоимений «тот» и «этот» вместо более стильных «сей» и «оный», а иногда даже, что называется, совершенно огорашивал своими «эксцентричностью» добродушное начальство, которое очень часто не знало, что делать с таким *enfant terrible*¹, как я.

Помню, например, как за большую сверхурочную работу по подписанию и нумерации листов выпущенной тогда государственной 4-процентной ренты было ассигновано вознаграждение в несколько тысяч рублей. Вся аристократия нашего учреждения, как принимавшая участие в указанной работе, так и не принимавшая, разделила между собою весь этот гонорар пропорционально удельному весу занимаемого служебного положения, причём и на мою долю было предложено какое-то количество рублей. Что же касается наших Акакиев Акакиевичей,— всей мелкотравчатой братии, которая в течение двух месяцев усердствовала в работе, мечтая заработать по несколько десятков рублишек на человека, то у этой братии по усам текло, а в рот не попало. Никто из них не получил ни единого гроша.

Поражённый этим странным парадоксом нашей бюрократической логики, я сначала пытался было сагитировать обойдённых товарищей на выступление с протестом против такого возмутительного сверхцинизма дирижёров нашего ведомства, но моя пропаганда успеха не имела. Страх и привычка к субординации парализовывали в них всякий дух возмущения. Мне оставалось только одно — демонстративно отказаться от своего привилегированного права на гонорар.

Нужно было видеть изумление, негодование и расте-

¹ Бедовый ребёнок.

рянность превосходительных особ из нашего муравейника, когда, несмотря на все их просьбы и убеждения, я отвечал решительным отказом взять причитающиеся мне деньги и расписаться в соответствующей графе требовательной ведомости. Дело даже дошло до того, что аристократия нашего отдела смиренно предлагала мне такой исход: в пределах отдела все гонорары соединить в одну общую кассу и поровну разделить между всеми работниками отдела, принимавшими участие в сверхурочных занятиях.

К сожалению, наши Акакии Акакиевичи на это не пошли: «в милости, мол, мы не нуждаемся».

Вскоре после этого я в ещё большей степени «удивил» моих принципалов. Однажды министр финансов Витте вызвал к себе нашего управляющего и спросил у него:

— Имеете вы какие-нибудь сведения о некоем чиновнике Лепешинском?

Управляющий, полагая, что если сам Витте интересуется моей судьбою, то должно быть я великий пролаза и счастливый карьерист, поспешил рассыпаться перед министром в похвалах по моему адресу.

— А где же сейчас находится этот молодой человек?

— Должно быть при исполнении своих обязанностей...

— Так разве же вы не знаете, что он уже два дня как арестован за свою политическую преступную деятельность?!!

С бедным управляющим чуть было не сделался удар. Явившись затем в комиссию, он разнёс в пух и прах представителя канцелярии за то, что тот принял на службу прохвоста и скотину, который не постеснялся опозорить такое до сих пор непопороченное и незапятнанное ничем подобным учреждение, как Комиссия погашения долгов, а главное за то, что представитель канцелярии даже не предупредил о скандале его, управляющего, и тем навсегда погубил его репутацию в глазах Витте.

Все эти подробности мне были переданы моими сослуживцами впоследствии, по выходе моём из тюрьмы, а в описанный момент я действительно имел своей резиденцией д. № 5 на Шпалерной. Арестован я был в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. (по старому стилю) вместе с обширной группой из интеллигентов и рабочих, заподозренной в социал-демократической «преступной» деятельности. В числе арестованных были и представители кружка, руководимого Владимиром Ильичём Ульяновым (сам

Владимир Ильич, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев и другие).

Помнится, в этот роковой вечер я много поработал: отпечатал на мимеографе какой-то отчёт красного креста и начал печатание листовки по поводу стачки еврейских рабочих на фабрике Эдельштейна в Вильно. Было два или три часа ночи. Я мечтал уже о том, как завалюсь в постель и согреюсь под тёплым одеялом. Вдруг резкий, дребезжащий звонок.

— Телеграмма, — раздался голос из-за двери на вопрос Стёпки Гуляницкого (моего сожителя): кто там?

— Ну, теперь крышка! — промелькнуло в моём сознании. В течение полминуты сердце било тревогу, и в душе шевелился ужас отчаяния. Но скоро какая-то властная мысль о том, что всё, дескать, в порядке вещей и ничего не произошло такого, что позволительно было бы счесть за роковую неожиданность, вызвала во мне реакцию полного спокойствия с примесью усталости и равнодушия ко всему происходящему.

Не знаю, было ли у моих визитёров предписание о моём аресте «независимо от результатов обыска», но пред восхищённым взором ввалившейся в мою комнату своры полицейских во главе с каким-то приставом представилось восхитительное зрелище, дававшее им полное основание немедленно изъять меня из обращения.

Вырезанная из картона рамка имела натянутую навощённую графаретку с прорезанными на ней буквами, по которой уже не раз прогулялся тут же лежащий валик с типографской краской. Один конец рамки был прикреплён кнопками по двум углам к верхней доске комода, игравшего роль рабочего стола, от другого конца шла бечёвочка, перекинутая через блок, прибитый к потолку, и свешивавшаяся до низу с таким расчётом, чтобы носком ботинка, к которому привязывался конец бечёвки, можно было приподнимать и опускать неприкреплённую кнопками часть рамки. Таким образом, одна рука у печатника была свободна для подкладывания под рамку чистого листа бумаги и затем выбрасывания из-под рамки отпечатанного экземпляра, а другая — для прокатывания по графарету валиком, предварительно смазанным типографской краской. Одним словом, работа была рассчитана на одиночку, не нуждающегося в посторонней помощи, и притом могла идти довольно быстро.

Долгое время господа полицейские возились около моего нехитрого полиграфического аппарата, отдавая дань удивления остроумию его изобретателя. Но их ждали и другие богатые трофеи. В углу комнаты была сложена груда книг: то были по полтора-два десятка экземпляров ходких в то время народовольческих брошюр — «Царь-голод», «Рабочий день», «Ткачи» и т. д. Кроме того, полицейские лапы быстро нащупали где-то несколько оставшихся у меня экземпляров отпечатанной на вышеописанном мимеографе прокламации «Императорского дома нашего приращение». Это литературное произведение, состряпанное мною по поводу рождения какой-то великой княжны (кажется Ольги), было посвящено тщательному рассмотрению гражданского листа и подсчёту царских доходов. В своей канцелярии я набрёл на толстый отчёт министерства финансов (роспись государственных доходов и расходов) и из этого богатого первоисточника мог почерпнуть и нужные для прокламации цифры.

Должен заметить, что приобретённая мною закваска в духе анархического бунтарства былых времён отнюдь не могла способствовать тому, чтобы эта прокламация по своему тону и стилю напоминала выходившие в то время социал-демократические листовки.

Забегая немножко вперёд, упомяну о том, что впоследствии жандармское дознание очень охотно оперировало моей прокламацией в доказательство того, что, мол, «сами социал-демократы не выдерживали в агитационной деятельности своей программы и вместо приготовления рабочих к политическому движению путём подстрекательства их на борьбу с хозяевами исключительно на экономической почве, они начинали с того, что возбуждали рабочих против Верховной власти» (цитирую из жандармского доклада по делу «о возникновении в 1894 и 1895 годах преступных кружков лиц, именующих себя «социал-демократами»).

Самым ярким примером такой невыдержанности программных рамок социал-демократии в глазах жандармов оказалась картина «преступной деятельности обвиняемого бывшего чиновника Комиссии погашения долгов губернского секретаря Пантелеймона Николаевича Лепешинского». В качестве иллюстрации этого утверждения в докладе идёт ссылка, главным образом, на листовку «Императорского дома нашего приращение». В стихотворении,

предпосланном статье о царских доходах, прокуратуре показался очень уж одиозным конец этого стихотворения:

Эх, скоро ли рукою твёрдою
Ты (т. е. народ) с корнем вырвешь это зло (т. е. царизм)
И скажешь лишь с усмешкой гордою:
Быльём бывшее поросло.

Затем «доклад» отмечает наличность «резкой формы оскорблений величества»: «Государь император называется «Августейшим животным», а в конце прокламации написано: «в результате этого счастья (т. е., — поясняет доклад, — рождения великой княжны) будет то, что несколько десятков тысяч новых разорений в крестьянском мире из-за недоимок увеличит количество голодных людей в России и умножит число лиц, которые должны будут попасть в тюрьму и на каторгу. Так пусть же будет проклято всё это отродье паразитов, это величайшее зло и несчастье нашей родины».

Действительно, весь этот недурно подобранный букет наиболее пахучих мест из моей злополучной прокламации очень плохо согласуется с тем революционным тоном, который был сразу же взят народившейся социал-демократией, и жандармский доклад был бы прав в своём умозаключении о «невыдержанности» этого тона, если бы не одна лишь ошибочная предпосылка силлогизма. Целый ряд лиц попал по жандармскому дознанию в разряд новой по тому времени разновидности революционеров — в громком деле о социал-демократах 1894—1895 годов — совершенно зря. В том числе и пишущий эти строки в 1895 г., вплоть до ареста, не был ещё социал-демократом, а примыкал к народолюбиеству, и это вот обстоятельство как раз и осталось для прокуратуры совершенно невыясненным.

Как же могло случиться, что такие тёртые калачи, как ведший дознание товарищ прокурора Кичин и иже с ним, так грубо ошиблись? На этот вопрос нельзя было бы дать удовлетворительного ответа, имея в виду один только факт неточности агентурных сведений — или попросту шпионского вранья. Указанный факт жандармского дальтонизма, переставшего различать далеко не идентичные революционные цвета, объясняется, как мне кажется, более глубокими причинами, и пример моего собственного касательства к «сферам влияния» социал-демократии,

быть может, и помог бы вскрыть эти интересные сами по себе причины.

Вернусь, поэтому, в своём рассказе несколько назад — к 1894—1895 гг.

По приезде в Петербург я поспешил разыскать своих старых кружковых друзей и скоро опять был в «своей сфере».

Если не считать более конспиративных центров нашей революционной группы (например, А. А. Ергина), мне вспоминаются обширные собрания нашего кружка в его стадии, так сказать, теоретического самоопределения. Тут были братья Плаксины (Николай и Александр), Михаил Сущинский, Н. А. Орлов (о котором упоминалось выше), А. А. Николаев, доктор Г. Н. Пинегин, С. И. Якубов, В. Бартенев и ряд других лиц, имена которых моя память не сохранила на протяжении последующих десятилетий.

Всё это были представители радикальной интеллигенции (большинство почему-то с медицинским образованием), считавшие себя продолжателями старого революционного народничества. Некоторые из них потом «поумнели» и свернули на торную дорожку, а кое-кто решительно стал «по ту сторону», вроде, например, Н. Н. Плаксына, когда-то «властителя дум» радикальной молодёжи, впоследствии — в Уфе во время и по окончании срока ссылки — модного врача, высоко ценившего свою врачебную помощь, после же октябрьского переворота, как слышно, белогвардейца, связавшего свою судьбу с авантюрой Колчака.

Но в описываемое время это была спевшаяся группочка. Бесконечные наши дискуссии (а мы, признаться сказать, были большими любителями поговорить в тёплой компании себе подобных) вертелись, главным образом, около марксизма, который, негаданный и непрошенный, клином вторгся в «целостное» мировоззрение современной нам «соли земли».

После выхода «Критических заметок» П. Струве мы ещё сохраняли некоторое горделивое спокойствие. Но вот, как метеор с неба, на нас свалилась книжка Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю». Ну, тут уж нас взорвало. Что за цинизм, что за наглость!.. Нужно было сейчас же, немедленно собраться всем и обсудить, что делать, как реагировать на этот дерзкий вызов. Мы сошлись у Плаксиных, живших под самой крышей

Александринского театра. В огромной, с низким потолком, комнате собралось человек 25—30. Ну и давай же мы тут отводить душеньку! Если только справедлива русская примета относительно икоты, то бедному Георгию Валентиновичу, нужно полагать, икалось в это время так, что встревоженной за своего Жоржа Розе Марковне пришлось, вероятно, прибегнуть к медицинским снадобьям.

Казалось, что наши витии не оставили своей жестокой критикой камня на камне от теоретических построений Бельтова. Мы пустили в ход весь свой сарказм, со смехом подхватывая идею диалектического развития с его «отрицанием отрицания», мы придумывали юмористические примеры для иллюстрации пресловутой триады, мы, наконец, просто ругали нехорошими словами Бельтова. Не помню уж, долго ли мы упражнялись таким образом, но разошлись мы после собрания, нужно правду сказать, не с просветлёнными мозгами и не с облегчённой душой.

По крайней мере, что касается меня, то с этих пор я всё чаще и чаще стал заглядывать в еретическую книжку Бельтова и всё больше и больше стал призадумываться над ней, причём, как и следовало ожидать, со мной приключилась скверная история: я и сам в конце концов заразился микробом марксизма... С этих пор я стал испытывать «миллион терзаний». Мысль о том, что я могу обратиться в презренного вероотступника, что я, чего доброго, сожгу всё, чему поклонялся, что от меня все мои добрые друзья и товарищи станут отворачиваться, как от жалкого ренегата, не устоявшего против софизмов оболстителя,— мысль об этом наполняла смятением и тревогою мою душу. Единственный человек, которому я решался приоткрывать болезненные язвы этой души, был Орлов.

— А что, Николай, разве ты не допускаешь мысли, что у марксистов есть своя доля правды! — осторожно спрашиваю я у моего закадычного приятеля, с тревогою заглядывая в его зеленовато-серые суровые глаза.

— Н-да, брат, вижу, что ты уже готов к восприятию новой веры,— отвечает мне Орлов, печально качая головой.

— Но ведь пойми же, Николай... Они вовсе не зовут нас к насаждению буржуазного строя, а подсказывают лишь, на кого в революционной борьбе можно и должно

опереться... Рабочий класс — вот на кого, по их мнению, нужно делать нашу ставку...

— Ах, брось ты эти песни насчёт рабочего класса,— раздражается мой собеседник,— не люблю я этого твоего фетиша... А впрочем, бесполезно спорить! Тебя уж всё равно не вернёшь на старый путь...

Нисколько не удовлетворённый такого рода интимной беседой, я всякий раз уходил от Орлова с ещё более смятенной душой. Никто, однако, из других членов кружка не догадывался о моей «болезни». И даже когда впоследствии я уже сидел под замком, случилось как-то, что одна моя приятельница-народоволочка приготовила мне для передачи десятирублёвку из кассы красного креста, но, узнав от навещавшей меня «невесты» по назначению, что я уже стал социал-демократом, была поражена этой новостью, долго не хотела верить такой «клевете» и только после убедительных доказательств, говоривших о моей метаморфозе, сердито унесла десятирублёвку для передачи более достойному борцу, выбывшему из строя.

В начале 1895 г. я получил через С. И. Якубова предложение от одного из конспиративных центров (мне оставшегося неизвестным) заняться пропагандой в кружке рабочих. Я охотно согласился.

Мне дали группу кажется в 6 или 7 человек. Из них выделялся и казался с первого взгляда на целую голову выше остальных Василий Яковлевич Антушевский, работавший токарем по металлу в механической железнодорожной мастерской. Юноша лет 22-х, чистенько и не без щегольства одетый, нередко с манишкой и манжетами, он по внешнему виду производил впечатление интеллигента. В кружке он должен был играть роль не столько объекта социалистической обработки, сколько субъекта воспитания остальных членов кружка. В качестве «сознательного» он лишь «дополнял» меня, как пропагандиста. По всей вероятности, ему было поручено на первое, по крайней мере, время внимательно присматриваться ко мне — стою ли я, мол, на высоте своей задачи. На нём же лежала ответственность за организационную сторону кружковой работы: назначать время и место для собраний и следить за тем, чтобы члены кружка собирались аккуратно.

Нельзя сказать, чтобы он сколько-нибудь был силен по части книжной премудрости, но понатереться около

интеллигентов он действительно успел и любил-таки кстати и не кстати щегольнуть учёным словом или фразою.

Я был в приятельских отношениях и с Антушевским, но более приятное впечатление производил на меня другой член кружка — Филипп Галактионов, сравнительно молодой (лет под 30) ткач с Кожевниковской фабрики. У него были не нахватанные на скорую руку элементы мировоззрения, а мысли, выстраданные и выношенные в глубине настоящей пролетарской психологии. Несмотря на свою скромность, он на самом деле был гораздо развитее Антушевского. Кстати сказать, и впоследствии, будучи арестован, он держал себя на дознании с таким гордым достоинством, какое в то время было далеко не частым явлением в атмосфере запуганности и растерянности, царившей среди попадавшей в лапы жандармов рабочей молодёжи.

Из других своих слушателей я помню ещё Королёва — молодого паренька с волнистой, рыжеватой шевелюрой, которой он лихо потряхивал, приходя в восторг от какого-нибудь красного словца или какой-нибудь заманчивой революционной перспективы. Он отличался способностью быстро воспламеняться, но и быстро остывать. Эта нервность и неуравновешенность впоследствии, когда он был арестован, послужили причиной его излишней откровенности на допросах, за что он потом дорого расплачивался мучениями больной совести. Во время же кружковых занятий он был источником моей постоянной досады. Бывало, только что я войду в раж, объясняя «хитрую механику» закабаления капиталистами рабочего класса, а он уж тут как тут — и преподнесёт какой-нибудь вопрос, застигающий меня врасплох.

— А скажите, П. Н., как это наука показывает, что бога нет... Очень уж это самое дело меня берёт за живое... Да и фабричные ребята тоже интересуются: как так бога нет?! Почему такое?!

— Ах, послушайте, Королёв,— строго замечая я.— Во-первых, у нас сейчас идёт речь о прибавочной стоимости, а не о боге или чорте, а во-вторых, охота же вам возиться с вопросами религии... Вот лучше поучитесь тому, как это так случилось, что вы стали жертвою, брошенною в прожорливую пасть молоха, который зовётся капиталом... И как бы так рабочему классу насмерть поразить это чу-

довище... А библейского-то этого бога вы пошлите к чорту, и дело с концом!..

Говоря так, я был глубоко убеждён, что разговоры о религии только понапрасну отвлекут внимание моей аудитории от важного и существенного — от экономики и социализма — в сторону метафизических умствований. С таким же недружелюбием я встречал и другие «не относящиеся к делу» вопросы — например, о происхождении мира или человека — вопросы, на которые очень часто требовал прямых ответов всё тот же неукротимый Королёв, не без поддержки, впрочем (робкой и дипломатической), со стороны вдумчивого Галактионова. Кажется, если не ошибаюсь, таким же предрассудочным отношением к естественным запросам ума стремившегося «из мрака к свету» рабочего грешили и многие интеллигенты, бравшиеся в то время за дело социалистической пропаганды в рабочих кружках.

В пояснение этого обстоятельства замечу, между прочим, следующее. Нельзя сказать, чтобы я и мне подобные просветители рабочего класса не придавали большого значения делу ознакомления рабочих с естественно-научными элементами материалистического мировоззрения. Но нам казалось, что принцип разделения труда и экономики сил требует от нас сужения нашей задачи до пределов чисто социалистической пропаганды. Общее же развитие рабочий сможет получить и в своей вечерней школе.

— А что же представляла из себя эта вечерняя школа? — спросит иной читатель.— О, вечерняя школа в описываемое время была огромным фактором революционной работы среди рабочих.

Подчинённая контролю придирчивого чиновника — инспектора, она долгое время не привлекала внимания охраны или, лучше сказать, не в такой мере привлекала, чтобы революционерам нельзя было с нею оперировать. Под невинным соусом преподавания географии по какому-нибудь Смирнову или истории по Иловайскому пробиравшаяся в эту школу учительница-социалистка давала рабочим элементы материалистического мирозерцания и гражданской грамоты. Правда, такой учительнице приходилось изворачиваться, опасаясь и посещений инспектора, и соглядатайства шпиона из среды слушателей, и подвоха со стороны какой-нибудь товарки по работе в школе, прислуживающей начальству и готовой даже в случае чего и

на донос. Но наши товарищи-учительницы великолепно приспособлялись к своей роли и не только с честью выполняли свою чисто учительскую функцию, но и помогали революционным организациям подбирать кружки из рабочих для последующей обработки их под знаком социалистической пропаганды. С этой целью учительница внимательно изучала индивидуальность каждого посетителя школы, делала на основании этого знакомства отбор наиболее доброкачественных экземпляров, постепенно готовила их для нелегальных форм восприятия идеи социализма и в таком уже виде передавала в значительной мере обработанный материал специальному пропагандисту для дальнейшей выучки.

При некоторых школах устраивались даже конспиративные квартиры, а сами учительницы начинали увлекаться нелегальной работой. Так, например, при Глазовской вечерне-воскресной школе в квартире рабочего Рядова частенько устраивались конспиративные собрания. Учительницы этой школы Сибилёва, Устругова и Агринская сильно скомпрометировали себя в глазах полиции своим непосредственным участием в нелегальных видах работы. В то же самое время и Н. К. Крупская, работавшая в Варгунинской вечерне-воскресной Смоленской школе, по её собственным словам, через школу хорошо знала рабочую публику на близлежащих фабриках и заводах, знала, где кто имеет влияние и т. п. Большинство рабочих, посещавших кружки, ходило и в школу, заводило и там новые связи и т. п. Хотя прямого разговора не было, но ученики прекрасно знали, что она принадлежит к определённой группе, и учительница знала, кто из них в какие кружки ходит. В той же школе работали З. П. Невзорова и А. А. Якубова, также связанные с нелегальными организациями.

Что же касается огромной положительной роли вечерних школ для революционной пропаганды среди столичного пролетариата, то она совершенно ясна. Около этих школ питались и «старики», и «молодые» (чернышевцы-тож), и народовольцы... Вот почему даже такая школа, как Глазовская, где была подобрана учительская радикальная интеллигенция не из социал-демократической среды, объективно должна была обслуживать интересы социал-демократической борьбы.

Немудрено, что и жандармское дознание, натываясь

много раз на имя В. Сибилёвой в связи с именами очень многих рабочих, прошедших через Глазовскую школу и связанных в свою очередь с рабочими кружками, обслуживаемыми группой социал-демократов, ничего другого не могло и придумать, как занести её, вместе с Е. Д. Усруговой и сёстрами Агринскими, за одну скобу с социал-демократами — вопреки действительности.

Кстати сказать, раз речь зашла о Верочке Сибилёвой, она пользовалась большой популярностью среди рабочих. Я очень хорошо помню её красивое, кругленькое личико, дышащее молодостью и энергией. Смерть, однако, не пощадила её молодости. Она умерла в 1898 г. в Астрахани, будучи туда сослана по окончании нашего процесса. (Кажется, её сначала сослали в Архангельск, но ввиду совершенно расшатанного тюремной её здоровья Архангельск был заменён ей Астраханью.)

Любопытно отметить, что в свою очередь и я, вышедший из недр народовольчества, вёл свои беседы с рабочими, основываясь на прочитанных мною и проштудированных страницах из Маркса (я был одним из немногих счастливых — обладателей I тома «Капитала»), из Лас-саля, даже из Чернышевского, но клянусь честью, что мне и в голову не приходило подсовывать моим слушателям народнические теории Н. К. Михайловского, Николай — она, В. В. и К°. И это происходило вовсе не потому, что во мне проснулось недоверчиво-критическое отношение к народничеству, а вышло как-то само собою, так сказать, по независимым от меня обстоятельствам. Правда, я уже болезненно переживал тогда тот умственный кризис, о котором говорил выше. Но я ещё не смел круто повернуться спиной к своим прежним фетишам, я ещё не отделился от той пуповины, которая меня связывала с детским местом моего революционного развития в его эмбриональной стадии.

Если я как бы и позабыл о своих народнических догматах, то это прежде всего и весьма просто объяснялось тем, что я имел дело с кусочком общественной среды, совершенно определённо предъявлявшей спрос на идеологические элементы своего особого классового самоопределения. Заговори, например, я со своей аудиторией об общине, о земледельческих артелях, о тяге мужицкой России к коллективистическим формам жизни, о самобытных путях развития русского народа, неприемлемости для него

капиталистического развития и т. д. и т. д., — и я скоро должен был бы почувствовать, что мои семена падают на неблагоприятную почву. В то же время животрепещущие злобы дня — о том, что творится на Путиловском заводе, у Лаферма или у Торнтон — были властными центрами нашего общего внимания. Какое там, чорт, артели или община, когда тут в спешном порядке нужно разрешить задачу об организации стачечного фонда или кассы взаимопомощи!.. И я искренно увлекался этими новыми для меня мотивами, новыми заданиями.

Словом, не рабочие приспособлялись к моему мировоззрению (довольно-таки путаному в тот период), а, наоборот, я был увлечён мощной стихией стачечного движения и приспособлялся к потребностям своей аудитории. И это обстоятельство до такой степени сыграло роль могучего фактора в процессе моего политического перевоспитания, что не кто иной, как я же сам, уничтожил почти всю пачку в 300 экземпляров прокламации «Императорского дома нашего приращение», не желая распространять этой листовки плохого бунтарского тона среди рабочих.

Думаю, что революционная работа и остальных выходцев из народовольческих организаций носила в то время такой же характер приспособления к неудержимо растущему рабочему движению. Недаром же сбитая о толку прокуратура умозаключает:

«Из всего вышеизложенного усматривается, что данным установленны данные, указывающие, что группу «Народовольцев», совершенно расстроенную в 1894 г. уголовным преследованием, заменили в противоправительственной пропаганде среди рабочих лица *одинаковых с народовольцами убеждений* (курсив мой. — П. Л. Очевидно, с точки зрения подслеповатой охранки все кошки стали серы), но начавшие действовать по иной программе и именовавшиеся социал-демократами».

В известном, очень условном, смысле жандармы были правы. Время нитья революционной интеллигенции и её плача на реках вавилонских прошло. В центрах рабочего движения жизнь забила ключом. Стаечная волна подняла полуразбитое судёнышко русской революции с мели реакции и бросила его вместе с обновлённым его командным составом в водоворот бурной политической жизни. Революционер старой марки, если только он не спешил спрятаться от этой жизни и замуроваться в тех говориль-

ных тайниках, где много болтали для самоуслаждения по-Михайловскому, а выступал на путь практической революционной работы, ничего другого и выдумать не мог, как идти в рабочую среду, говорить там о заработной плате, о 8-часовом рабочем дне, о борьбе с хозяевами, о стачках и т. п., вести пропаганду, придерживаясь экономической теории Маркса, самому таким образом попадать в гущу саморастущего рабочего движения и на этой почве обновлять свой идейный багаж. Недреманное же око жандармерии, имея в поле своего зрения переплетающиеся линии «преступной деятельности» в одних и тех же плоскостях как народовольцев, так и социал-демократов, оперируя агентурными данными о вольном или невольном контакте и тех и других, толкавшихся около одного и того же объекта своей работы, в конце концов переставало правильно различать не только революционные оттенки, но и основные цвета.

Как известно, главная роль по работе среди петербургского пролетариата в 1894—1895 гг. принадлежала группе социал-демократов, известных под именем «стариков». Эта группа была сильна не столько количественно, сколько качественно. Деятельностью этой группы руководил Владимир Ильич Ульянов, относительно которого выдавший его летом 1895 г. за границу Г. В. Плеханов отзывался, как о единственном в своём роде человеке, необычайно счастливо соединявшем в своём лице и великолепного практика и блестящего теоретика. Около Владимира Ильича сгруппировалась кучка интеллигенции, прошедшая такую марксистскую выучку, которая сразу определила весьма выдержанную линию её социал-демократической работы. Со «стариками» в некотором роде конкурировали «молодые», руководимые Чернышёвым. Это были социал-демократы уже совершенно другой марки. Не хватало того теоретического багажа, которым могли похвалиться — не говоря уже о Владимире Ильиче — некоторые из членов его кружка, как, например, Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.

Следующую ступень занимали народовольцы, по большей части предоставленные самим себе и действовавшие за свой собственный риск и страх.

Хотя, как это я старался выяснить выше, условия революционного момента на практике сближали их работу с однородной деятельностью социал-демократических

кружков, но ни идейной выдержки, ни определённости в методах работы у них, конечно, не могло быть. Центр притяжения у всех этих элементов был общий, но если группу В. И. Ульянова можно было бы сравнить с планетой, окончательно сформировавшейся из революционных сгустков, то одиночек из народовольческой «туманности» хочется уподобить блуждающим кометам, которые то приближаются к своему центру тяготения, то удаляются от него чорт знает на какое расстояние. Зато работа такого кустаря-одиночки как будто выигрывала в смысле большей красочности, более свободного развёртывания присущих ему творческих сил, большей, так сказать, романтичности.

Сейчас я считаю очень сомнительными и мещански-индивидуалистическими эти преимущества, но когда-то, в те далёкие времена, я сознательно предпочитал роль кустаря-одиночки более стеснённому, как мне казалось, положению членов той или иной сплочённой группы, действующих друг на друга самоограничительно.

— Никто, мол, мне не указчик,— я сам себе ответственный руководитель!

По праздничным дням или по канунам праздников моя группа рабочих собиралась где-нибудь за городом — то за Балтийским вокзалом, то за Волковым кладбищем, то за Невской заставой или в каких-нибудь иных укромных местечках. Чтобы замаскировать свою интеллигентскую внешность, я заказал себе высокие сапоги охотничьего типа, воображая, что они, вместе с картузом, лихо заломленным набекрень, придадут мне достаточно демократический вид. Не думаю, впрочем, что именно эти сапоги долгое время, на протяжении 8—9 месяцев, спасали меня от провала. Вероятнее всего моё положение чиновника (пожалуй, уже не рядового) в гораздо большей степени способствовало тому, что внимание охранки не сразу было обращено в сторону «благополучного россиянина», связавшего свою судьбу с благами 20-го числа.

Но как бы то ни было, не чувствуя себя ещё опутанным паутиною шпионских наблюдений, я становился всё более и более дерзким в своих похождениях. Однажды, например, мне пришла в голову идея собрать вокруг себя более значительную аудиторию, чем мой кружок, и кстати дать возможность расправиться в этой обстановке свои агитаторские крылья моим лучшим ученикам — Антушеву-

скому и Галактионову. Сходка где-нибудь в лесу с непременным присутствием на ней шпика, от которого никак в таких случаях не удаётся уберечься, мне нисколько не улыбалась.

И вот мне пришло в голову нанять финляндский пароходишко якобы для увеселительной прогулки. Заражённый моим авантюризмом Антушевский одобрил этот план и взял на себя его выполнение — разыскал такой именно пароходишко, какой был нам нужен, с парюю матросов-финляндцев, плохо понимающих русский язык, составил с очень строгим выбором список будущих пассажиров (предполагалось собрать, насколько помнится, человек 75) и закупил нужное количество провизии — французских булок, чайной колбасы, а также несколько бутылок водки отчасти в целях имитации «пиршества», а отчасти и для того, чтобы напоить до положения риз пароходную команду.

Весь наш кружок ждал этой прогулки по Неве с величайшим нетерпением. Антушевский и Галактионов заготовляли речи, с которыми собирались выступить на пароходе. Была выработана программа дня. Начало сентября предвещало хорошую погоду. Одним словом, мы были настроены весьма радужно. Но, как водится в таких случаях, вышла какая-то путаница с назначением дня отъезда, и на наш «Тулон» явилось вместо 75 человек не более 25—30 приглашённых гостей.

Примирившись, однако, с этой неприятной неожиданностью, мы ранним утром отчалили от пристани у Летнего сада и пустились в путь вверх по Неве. День выдался тёплый, солнечный. Вот уж и Охта осталась позади. Освобождённая от скучных городских построек и от унылых фабричных корпусов с их вытянутыми к небу трубами, могучая река ласкает наш взор своей зеркальной ширью. Мимо нас мелькают зелёные берега; на этом зелёном фоне пестреют золотые блики осенней листвы берёз и осин. А там — на горизонте туманятся лиловатые дымчатые дали.

Иллюзия свободы опьяняет нас. И по программе, а ещё более сверх всякой программы льются обильными потоками на излюбленные темы речи, завязываются споры. Затем запевалы затягивают песню, дружно подхватываемую хором.

От этого ясного голубого неба, от этих залитых солнечным светом ландшафтов нам ещё более, ещё увереннее хочется смотреть вдаль, где, к сожалению, так ещё туманно, так эскизно вырисовываются светлые перспективы борьбы рабочего класса за новый мир.

— А что же делать рабочей женщине в этой борьбе? — подымает спорный вопрос Верочка Сибилёва. — Ведь работница несёт двойное иго, находясь под гнётом и капитала и семейной домогательщины...

Мнения разделились. Я стою на той позиции, что женский вопрос разрешится только тогда, когда будет благополучно ликвидирован вопрос о всём «четвёртом» сословии в целом, ибо только при социализме будут изжиты эксплуатация, рабство и гнёт во всех их видах и формах, а в том числе и семейных. Наши женщины (их было две на пароходе) настаивают на необходимости поддерживать самостоятельное женское движение. Торжествует в конце концов синтетическая точка зрения. Если, мол, будет почва для самостоятельного объединения женщин рабочих, то следует относиться к этому явлению благосклонно, отнюдь, однако, не поддерживая иллюзий о достижении полной эмансипации женщины вне борьбы рабочего класса за социализм.

Время летит незаметно. Вот уже и солнце начинает спускаться к горизонту. Пароход наш на полдороге к Шлиссельбургу, прежде чем повернуть назад, где-то в красивом местечке делает часика на 1½ привал. Наша публика высыпает на берег, бегают, дурачатся, играет в горелки и дышит полной грудью, захватывая жадными лёгкими напоённый ароматами соснового леса чистый, бездымный и беспыльный воздух. Серовато-жёлтые с зеленоватым оттенком лица рабочих начинают покрываться лёгким румянцем.

Прогоулка в тот день сошла для нас благополучно. Охранники прозевали её. Но если бы даже при возвращении нашего парохода нас поджидала уже расплата за дерзостное деяние, наказуемое по такой-то статье, если бы нам пришлось в качестве заключительного аккорда к нашему весёлому дню испытать в тот же вечер прелести ввержения нас в каменные мешки, я не думаю, чтобы у многих из нас шевельнулось в душе чувство горечи или раскаяния. Не много таких хороших дней выпадало в серой жизни тогдашнего рабочего. Это был наш импро-

визированный праздник, который позволил не только на минуту отдохнуть от скучных серых будней жизни, но и воспринять его, как символ, как лёгкий намёк, как предвосхищение того далёкого, того желанного идеала свободной братской жизни, который маячил перед нашим умственным взором светлой звёздочкой на тёмном горизонте окружающей действительности.

Впоследствии жандармы, найдя у арестованного Антушевского пароходную квитанцию, написанную на моё имя, задним числом вскрыли картину нашей прогулки, считая этот эпизод одним из самых выпуклых моментов моего «преступного» поведения, но всё же главную мою роль они видели в моих функциях печатника для обслуживания, как им казалось, издательских нужд социал-демократов.

Нужно заметить, что я действительно несколько специализировался в этом деле, но без получения на этот счёт каких-либо заданий социал-демократической группы, а по собственной инициативе, в качестве, так сказать, «свободного художника». Впрочем, точнее было бы сказать, не я специализировался, а выявил свою богатую творческую инициативу С. С. Гуляницкий, мною только стимулируемый и в некотором роде «развращённый».

Славный был парень этот студент-технолог Стёпка Гуляницкий. С кристально чистой душой, он был плохой политик и оставался довольно-таки равнодушным к тем «нашим разногласиям», которые раскидывали революционную интеллигенцию того времени в разные стороны. Он готов был сочувствовать и служить всему, что революционно отрицало полный грубого насилия над личностью человека порядок вещей, но служить не в качестве первой скрипки, а в роли подсобной технической силы, тем более, что вечные заботы о куске хлеба для семьи (у него были жена и ребёнок) не располагали его к выступлению на первые боевые позиции. Задумав отдаться целиком революционной работе, я сошёлся с Гуляницким и снял с ним общую квартиру, занимая в ней одну комнату под видом его жильца.

Я знал, что даже очень очень нужные прокламации, призывающие, например, к срочной забастовке, очень часто пишутся от руки и распространяются среди рабочих в количестве, не превышающем десятка экземпляров. Чем особенно страдала и группа В. И. Ульянова, так это отсут-

ствием печатной техники. Поэтому предпринятые мною самостоятельные шаги к постановке мимеографического дела были как нельзя более кстати. Я уже стал получать довольно много конспиративных заказов, иногда из неизвестных мне источников, пока обыск и арест не оборвали моей налаженной работы. К сожалению, я не успел передать секретов моей техники следующему революционному поколению, и всё изобретательское остроумие Стёпки Гуляницкого, который был арестован вместе со мной, пропало даром.

А Гуляницкий оказался действительным гением изобретательности. Наша задача, которую мы поставили перед собой, заключалась в том, чтобы отыскать наиболее простые, наиболее дешёвые, а самое главное — наименее нарушающие условия конспиративности способы тиснения.

Прежде всего необходимо было состряпать типографский валик. Вопрос заключался в том, из какого материала его приготовить. После нескольких опытов мы с Гуляницким нашли, что продаваемое в аптекарском магазине растение агар-агар вместе с глицерином и водой в известной определённой пропорции даёт как раз подходящую упругую массу, которую стоит только отлить в цилиндрическую форму около железного стержня с выступами (чтобы масса не скользила вокруг стержня), приделать ручку, охватывающую своими гнёздами концы железной оси валика, и инструмент готов.

Второе затруднение заключалось в том, чтобы получить восковую бумагу, которая годилась бы для мимеографического печатания. Опыты с папиросной бумагой, одна сторона которой протаскивалась по поверхности определённой смеси из парафина, стеарина и спермацета (состав смеси был открыт всё тем же Гуляницким), подогреваемой в особо приготовленном для этой цели корытце, дали в конце концов превосходные результаты. Бумага нашего изготовления более удовлетворяла нас, чем продававшаяся в магазинах, и мы заготовили её целую стопу, предварительно отпечатав на ней клетчатую сеть для удобства писания.

Затем на очередь всплыла проблема пробивания на этой бумаге букв из ряда микроскопических дырочек, через которые должна проходить типографская краска. В продаже для этих целей служил резец с колёсиком на конце. Но покупать какую бы то ни было полиграфиче-

скую принадлежность было рискованно. И вот Гуляницкий додумался до простого способа — писания стальным прутом на навощённой бумаге, наложенной на напильник с мелкими нарезками (от 60 до 80 на 1 см).

О картонной рамке, к которой прикреплялся трафарет с написанным текстом (тоже простыми способами: края папиросной бумаги с наскобленным под ними парафином или стеарином проутюживались нагретым на лампе ножом), я уже говорил выше при описании момента моего ареста.

Все эти приспособления вместе с типографской краской, которую, к сожалению, нам пришлось купить, а не собственными средствами изготовить, обошлись, насколько мне помнится, в три рубля с копейками. Таким образом, простой, дешёвый и конспиративный способ размножения революционных небольших изданий был нами открыт. Можно было, не подновляя трафарета, получить сразу по нескольку сот (и даже около тысячи) вполне отчётливых экземпляров. Но, повторяю, нам не удалось передать в наследие наше открытие последующим работникам, так как те лица, которые были посвящены в этот секрет (Антушевский, Романенко), были вместе с нами арестованы.



ПЕРВАЯ ТЮРЬМА

(1895—1897 гг.)

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...

Из народной песни

Есть что-то таинственное — и страшное и увлека-
тельно-манящее в слове одиночество. Оно страшно,
потому что в каждом Робинзоне, как бы он хорошо
ни приспособился к своему необитаемому острову,
никогда не умрёт беспредельная тоска по Пятнице, ни-
когда не заглохнут общественные инстинкты. Но оно в то
же время пробуждает в душе и эмоцию положительную,
какое-то предчувствие радостных состояний духа, потому
что именно одиночество, эта редчайшая и в чистом виде
недоступная для современного цивилизованного человека
стихия, позволяет иногда измотавшемуся в сутолоке
жизни Перу Гюнту собрать если не все, то хоть некото-
рые элементы своего распавшегося «я», реставрировать,
поскольку это не поздно, своё индивидуальное, пер-гюн-
товское, лицо и, таким образом, хотя бы отчасти обрести
самого себя.

Одинокое заключение в так называемой «предва-
рилке», в сущности говоря, нисколько не достигает пред-
назначенных авторами этой системы целей изоляции «пре-
ступника» от общения с другими людьми и даже с дру-
гими его товарищами по тюрьме. Ниже я приведу из
практики своего собственного приспособления к условиям
жизни в «предварилке» примеры такого контрабандного
общения, а сейчас лишь скажу, что моя первая 14-месяч-
ная высидка в одиночной камере на Шпалерной вовсе
не была для меня сплошным кошмаром, сплошным отчая-
нием заживо погребённого человека.

Владимир Ильич, этот удивительный человек, всегда обладавший необычайно огромным запасом творческих сил, в своей одиночной камере, можно сказать, отдавался бурным оргиям литературно-научного творчества.

Так ведь то был Ильич! Что же касается нашего брата, рядового интеллигента, то для большинства из нас одиночное заключение было медалью о двух сторонах.

Но раз мне пришлось заговорить о пребывании Владимира Ильича в «предварилке», я чувствую большой соблазн несколько подробнее остановиться на этом эпизоде, отобразив его здесь так, как он мне живо рисуется в моём представлении о нём.

Перед Владимиром Ильичём, арестованным в ночь с 8 на 9 декабря 1895 г., гостеприимно раскрылись двери камеры в Доме предварительного заключения, и он на долгие, долгие месяцы стал хозяином полутёмной камеры, имеющей шесть аршин в длину и три в ширину. Окно на высоте свыше сажени, с двойными рамами и крепкою решёткою, выходит на тюремный двор, окружённый с четырёх сторон высокими стенами шестиэтажного тюремного здания и имеющий вид огромного колодца. Владимир Ильич не видит дна этого колодца и может лишь наблюдать через глубокую амбразуру оконного отверстия кусочек серого петербургского неба.

Обстановка камеры простая. В углу той стены, где находится окно, стыдливо притаилась в тени клозетная раковина, прикрытая жестяной проржавленной крышкой. Недалеко от этого места к стене привинчена водопроводная раковина с краном. Ещё ближе к двери — кровать в форме привинченной к стене железной откидной рамы с ножками; на раме — тюфячок, подушка (отнюдь не из пуха), казённое одеяло из серого сукна и грубое постельное бельё, нестерпимо пахнущее поташом или какими-то специями, составляющими секрет казённого прачечного искусства. По другую сторону к стене привинчена железная доска, играющая роль столика (приблизительно в 9 квадратных четвертей), и другая железная доска для сиденья за этим столом. Хотя и не очень просторно, но писать всё-таки можно. Ещё ближе к двери — с той же стороны, где и столик, — на высоте человеческого роста две маленькие полочки, одна над другой. Там помещается посуда узника: жестяная миска для супа, из того же материала тарелка для каши, деревянная ложка, кружка.

Ножей не полагается (ибо нож может быть орудием самоубийства), а вилку можно иметь свою, но только деревянную.

Владимир Ильич быстро ориентируется в условиях и обстановке своеобразной тюремной жизни. Он не унывает и даже готов юмористически реагировать на постигшее его «несчастье». Его трезвый ум подсказывает ему самое простое отношение к случившемуся. Всё, дескать, в порядке вещей. Царское правительство изловило своего политического противника и сделало своим пленником. В свою очередь пленник, если только он не хлюпкий, расслабленный интеллигент, а серьёзный политический деятель, должен как можно меньше расходовать свои силы на нервные реакции и никчемные протесты против «жестоких палачей» и «насильников» (если бы в социальной борьбе классовый враг поступал по христовским рецептам, то это был бы круглый идиот), должен стараться перехитрить своего победителя и извлечь максимум пользы для своего дела даже из условий своего тюремного бытия.

А в милейшей «предварилке» совсем даже недурно можно устроиться. Во-первых, нет ничего проще, как завязать сношения с внешним миром. Можно зашивать записочки на клочках тонкой бумаги в бельё, которое сдаётся «на волю» в стирку, можно с воли в «приношениях» (например, в ягодах вишнёвого варенья) получать крошечные комочки бумаги с драгоценными информацией, можно переписываться с помощью чуть заметно отмеченных точками букв в книгах и т. д. и т. д.

И Владимир Ильич со свойственной ему подвижностью вечно творческой мысли довольно быстро одолевает «технику» этого дела. Одинокое заключение в строго охраняемой тюрьме не является по отношению к нему надёжным средством прервать его связь с революционной средой. Из занимаемой им камеры время от времени вылетают его мысли-ласточки, которые в форме призывных прокламаций то там, то сям будят сознание и волнуют сердца пролетариев. Даже целые брошюры («Проект и объяснение программы социал-демократической партии») умудряется Ильич выпустить на волю! Что же касается сношений с товарищами по работе, одновременно вместе с ним (или немного позже, в 1896 г.) водворёнными в «предварилку» (Кржижановский, Старков, Ванеев, Запорожец, Цедербаум), то это для него не представляло

никаких трудностей, ибо для него ничего не стоило овладеть искусством выстукивания через гулкую стену камеры или через паровую печку-трубу — вправо, влево, вверх и вниз — с помощью традиционной тюремной азбуки.

Но не только в этих актах постоянного преодоления тюремных препятствий к сношению его с теми людьми, с которыми он хотел продолжать общение, выявилась его кипучая энергия, а и в гораздо большей степени в его литературно-творческой работе. Все политические, попадавшие в «предварилку», не упускали случая использовать свой вынужденный досуг в интересах своего интеллектуального развития. В «предварилке» имелась недурная библиотека в несколько десятков тысяч томов. В ней, например, можно было найти старые народнические журналы — «Современник», «Отечественные записки» и т. д., книжки по политической экономии, по естествознанию и пр. и пр.; словом, в целях самообразования не только рабочий с очень скромным умственным багажом, но и гордый своей «сознательностью» студент кое-что подходящее мог всегда отыскать там для себя. Принимая же во внимание, что заключённые имели право получать с воли книжки (конечно, проходящие через прокурорскую или жандармскую цензуру), легко себе представить, какую энергию мог бы развить каждый политический узник по части насыщения своих мозгов книжной премудростью. Но в огромном большинстве случаев заключённые не спасли этой работой своей психики от разлагающего влияния тюремной обстановки, очень часто впадали в состояние умственной и нравственной прострации, в особенности после той или иной полосы напряжённого чтения запоем, хандрили, нервничали, вздорили с надзирателями и не находили в себе достаточной силы сопротивления против своей, столь обычной для всякого политического пленника, склонности к проявлениям тюремного бунтарства.

Что же касается Владимира Ильича, то его и в тюрьме никогда не покидала жизнерадостность. Окружённый в своей клетке грудой нужных ему источников, главным образом земско-статистических сборников, он с упоением отдавался процессу научно-литературного творчества, подготавливая к печати свой большой труд «Развитие капитализма в России». Быстро бегают перо по бумаге. Из-

под пера выползают на свет божий ряды бисерных букв — это мысль Ильича, крепкая, могучая и в то же время подвижная, как ртуть, яркая, самосветящаяся, многогранная, «играющая», стремительно прокладывает себе дорогу к тысячам и десяткам тысяч других, неизмеримо более скромных познавательных аппаратов, заимствующих свой свет от центральных солнц в царстве науки. На сосредоточенном лице Ильича всё время вспыхивают светлые блики, отображающие внутренний огонь его творческих эмоций.

Щёлкает ключ в дверной форточке. Высовывается голова надзирателя с бледным засушенным лицом, с глазами мертвеца и с рыжей редкой растительностью на облыселой голове. Он молча просовывает через форточку полотёрную щётку и кусок воску.

— Гм... чорт побери!.. — мысленно реагирует недовольный узник на этот молчаливый акт приглашения поработать ногами. Не то, чтобы он считал ниже своего достоинства обращаться из человека науки в потеющего полотёра, а уж больно некстати подоспел этот перерыв. В самом ведь интересном месте прервали, когда подытоженная таблица однолошадных и многолошадных должна была развернуть перед восхищённым взором автора великолепную картину расслоения деревни... Еще бы с четверть часа и всё было бы готово... А тут вот эта щётка с воском. Досадно, очень досадно!

Ильич мог бы отказаться от этого полотёрного удовольствия. Натирание асфальтовых полов в камере рекомендуется заключённым в интересах санитарии и их физического самочувствия, не представляя очень уже обязательной повинности. Но было бы совершенно не похоже на Ильича уклониться от этого дела. Во-первых, его крепкий организм требует мочиона, а, во-вторых, он вовсе не хотел бы приобрести репутацию барчука, страдающего боязнью физического труда. Да в конце-то концов и таблица с безлошадными не убежит. Итак — за дело.

И вот Ильич со всей свойственной ему энергией начинает танцевать по камере, наблюдая за тем, как из-под его ноги со щёткой тусклая, матовая поверхность давно не подвергавшегося натиранию асфальта превращается малопомалу в зеркальную гладь. Он тяжело уже дышит от непривычных для его организма трудовых процессов, сердце бьётся учащённым темпом, обильный пот покрыв-

вает крупными каплями лоб, но ему ни на одну секунду не приходит в голову соблазнительная идея «слукавить», оставить неотполированным какой-нибудь уголок, не сделать работы.

Опять щёлкает ключ в двери.

— Прогулка,— коротко объявляет надзиратель.

Это тоже не из последних наслаждений в мире. Интересно прогуляться по ажурным лестницам тюрьмы, спускаясь вниз и питая некоторую надежду на один миг увидеть поворачивающую за угол фигуру товарища. Приятно хватить жадными лёгкими свежего воздуха на дворе. Очень хорошо бывает на душе и тогда, когда из своей прогулочной клетки в течение 15 минут наблюдаешь кусочек трудовой жизни на тюремном дворе: видишь, как дворники колют дрова, а уголовные распиливают поленья, или же вскидываешь глаза к небу, где в голубой дали тают от весеннего солнца кусочки белой кисеи.

А если сегодня четверг или воскресенье, то:

— Пожалуйте на свидание.

Милое, дорогое лицо, с глазами, которые спрашивают:

— Ну что, как? Здоров, не падаешь духом?

И другая пара глаз, смеющихся, отвечает без слов:

— Очень хорошо, очень хорошо...

А затем опять — по возвращении в камеру — процент безлошадных... денежная аренда... система отработок... роль внутреннего рынка...

Через 14 месяцев заключения в «предварилке» Ильич выходит из тюремных ворот такой же радостный, быстрый, с таким же всепожирающим аппетитом к революционной творческой работе, как и в то время, когда он подымал вокруг себя свежую новь пролетарской классовой борьбы «на берегах Невы».

Кстати сказать, и впоследствии, когда Ильичу пришлось снова попадать под замок (это было два раза: на две недели его арестовали в 1900 г. в Петербурге, ввиду «незаконного» приезда в этот запретный для него город, и около двух недель ему пришлось отсидеть в качестве подозреваемого агента русского правительства в австрийской тюрьме в начале войны, в 1914 г.), он никогда не терял бодрости. Правда, это были очень досадные эпизоды, сбивавшие его в самые ответственные моменты с пути его очередной революционной работы, но Ильич и в этих случаях оставался верен самому себе. В австрий-

ской, например, тюрьме он сейчас же принял близко к сердцу интересы окружавших жертв буржуазного правосудия, стал помогать попавшим в поле его зрения «отверженцам» советами, писанием заявлений и прошений и т. д. О себе же и о своём собственном несчастье предаваться горьким размышлениям у него не оставалось достаточно много времени.

Я тоже, на свой манер, старался использовать благоприятные условия одиночного сидения для интеллектуальной работы и для саморазвития: много читал, следил за журнальной литературой, которая в моей камере была представлена почти всеми толстыми журналами того времени, занимался математикой, к которой всегда тяготел мой ум, выводил пером какие-то беллетристические узоры, но именно эта разбросанность, бессистемность в работе мысли очень часто становилась для меня источником скуки, апатии, а вслед за этим и тягостной хандры. Не было самого главного здесь — ясной, определённой цели для порывистых устремлений ума, такой цели, которая оставалась бы постоянным и притом привычным возбудителем творческих сил, а вместе с этим не было и естественного регулятора моментов отдыха и умственного напряжения, что позволяло бы избегать двух крайностей — творческого «запоя», с одной стороны, и ленивой апатии — с другой.

Именно так, под таким знаком периодических акций и реакций проходила моя тюремная жизнь. Иногда, бывало, просыпаюсь я полный жизнерадостных предчувствий. Нет ещё и 7 часов, ещё не слышно щёлканья ключом тюремного надзирателя, переходящего по утрам от камеры к камере и гнусающего: «кипяток»... Но мне уже хочется поскорее выпрыгнуть из-под одеяла и начать «жить» полной жизнью. А впрочем, приятно и в постели покейфовать, отдавшись во власть каким-то весёлым настроениям.

Во мне клокочет радостное чувство бытия. Кажется, как и в самом деле всё прекрасно в этом лучшем из миров! Какие-то ещё не совсем охваченные сознанием перспективы этого счастливого дня вызывают в душе приступы приятного настроения. Очень хорошо, что сегодня я получу ещё накануне выписанную французскую булку (этого рода кутёж я не каждый день мог себе позволить). Но гораздо важнее (о да, неизмеримо важнее) то, что сегодня четверг — обычный день свиданий. Ко мне придёт прикомандированная друзьями к моей особе «невеста» —

Ольга Борисовна — и принесёт... Ах, что-то она мне принесёт на этот раз?.. Ну книги, конечно... Ну цветы (я, как Калхас, не очень-то люблю приношения из цветов, но совещусь в этом откровенно признаться моей даятельнице благ)... Ну ещё апельсины и вишнёвое варенье... А в варенье,— я уж знаю это наперёд,— будет лежать втиснутая в кожуру от вишнёвой ягоды крохотная записочка, завернутая в восковую непромокаемую бумажку. Это, изволите видеть, мои неподцензурные вести с воли. И буду я долго, долго разбирать мелкий бисер интересной записочки, снова и снова перечитывая её. С своей стороны я передам через надзирателей той же Ольге Борисовне снятую с себя пару грязного белья на предмет стирки его в «вольной» прачечной (это милостиво разрешалось тюремным начальством), причём она (Ольга Борисовна), в свою очередь, найдёт в условленном шве рубашки зашитую записку от меня.

Всё это очень хорошо, но не этим, пожалуй, или лучше сказать не только этим объясняется моё повышенное настроение. Мне весело потому... Ну да, просто потому, что я хочу читать, писать, мыслить, творить... Я снова вытащу из-под груды книг свою записную тетрадь, отряхну с неё пыль и снова сладострастно погружусь в свои прерванные периодом безделья математические выкладки или в свою работу по изучению конституций, тщательно конспектируя прочитанное.

И я вскакиваю с постели бодрый, весёлый, с таким завоевательским аппетитом, которого Александру Македонскому хватило бы на покорение всей Азии вплоть до Чукотского носа. Меня охватывает лихорадка работы. Я даже отказываюсь от получасовой прогулки во дворе, чтобы не тратить времени на такие «пустяки».

Так проходит 2—3 дня, и я начинаю понемногу «сдавать». Книжка и записная тетрадь уже не возбуждают во мне такого предвкушения радостей творчества, как давеча. А дальше и того хуже: мне всё становится постылым и противным, не исключая и своей собственной персоны.

О, я хорошо знаю, что это явление временное, преходящее, что пройдёт несколько дней упадочного настроения, и мой увядший дух снова станет оживать... А всё-таки, моё объективно-сознательное, рационалистическое отношение к этому психическому кризису нисколько не

помогает благополучному разрешению этого последнего, и, пока что, я весь пребываю во власти своих мрачных демонов отчаяния и тоски. Не могу отделаться от тёмных, ползучих, как осенние дождевые облака, невесёлых мыслей. Жизнь кажется удивительно плоской шуткой. Не только то «дальнее», к чему устремляется гордое «я» аристократов духа, но и всё ближнее — и «грядущий день», и настоящий миг — всё это «дым, дым и дым», как выражается тургеневский герой.

К счастью, в периоды такой ипохондрии меня неудержимо клонит ко сну. Я сплю, сплю целый день, как сурок, просыпаясь на несколько минут лишь тогда, когда открывается форточка и волосатая рука надзирателя просовывает через неё миску с баландой на обед или тарелку с кашей на ужин. Через день-два такой спячки я с радостью замечаю, что у меня снова уже «подымается аффекционал» (по счастливому выражению последователей Авенариуса) и начинается знакомый мне творческий зуд. Таким образом в некотором роде диалектический закон жизни — последовательная смена приливов и отливов в области, по крайней мере, психики человека — особенно отчётливо выявляется в обстановке одиночного заключения.

В той же обстановке даёт себя знать и другой закон — принцип относительности психических ценностей. Попробуйте вы приятно удивить сытого, избалованного лукулловскими пиршествами буржуа вкусно пахнущим бифштексом, не удивите, небось... И подсуньте вы этот бифштекс (а не то и просто ломоть хлеба с куском чайной колбасы) голодному завсегдатаю Хитрова рынка — и вы исторгнете из глубины его души такое выражение восторга, которое напечатает вам Колумба, узревшего в минуту отчаяния спасительную землю.

На фоне монотонной, как бы застывшей жизни человека, посаженного в одиночную камеру, всякое маленькое нарушение этой монотонности воспринимается заключённым как событие огромной важности и становится для него источником больших радостей или печалей. Книжку интересную принесли для чтения из тюремной библиотеки — великая радость! «Невеста» не пришла в очередной четверг или понедельник, причём жадное ухо узника тщетно следило в течение 3 часов томительного ожидания за щёлканьем ключа то справа, то слева от его камеры,

открывавшего двери счастливым, для которых гнусавое надзирательское «на свиданье!» звучало, как сладкая мелодия,— о, это горе, подлинное горе, вызывающее слёзы на глаза.

Письмо принесли с воли,— да будет благословенная рука, просунувшая его в форточку! Перевели из соседней камеры в другую приятеля, с которым успел сжиться за несколько месяцев добрососедских отношений и которому так приятно было отстукивать через стену на сон грядущий: «По-кой-ной но-чи... же-ла-ю ви-деть во сне Вероч-ку»,— ах, стоит ли жить после этого!

Хороши также бывали упоительные минуты переживания восторгов творчества ввиду каких-нибудь изобретательских достижений.

Вот, например, нужно разрешить «проблему света». Электричество в камерах гаснет в 12 часов ночи, а между тем хочется ещё почитать, лёжа в постели. Пламя свечи, прилепленной к неподвижному столику около противоположной стены, далеко находится от изголовья постели и не даёт для чтения достаточного количества света. И вот, я умудряюсь протянуть систему ниток от печной трубы к перекладине кровати. Моя стеариновая свечка, после нескольких опытов, благодаря подвешенному к ней грузу, принимает положение устойчивого равновесия и покачивается около моей подушки, словно висельник. Вероятно издали чёрные тонкие нитки не улавливаются глазом, и зрелище болтающейся в воздухе свечки производит впечатление сверхъестественной чертовщины. Сужу об этом потому, что в урочный час своего обхода надзиратель, взглянувший через «глазок» в мою камеру, так, повидимому, и застыл в этом созерцательном состоянии. Через минуту я увидел уже через открытую дрожащей рукой форточку искажённую ужасом физиономию, а ещё через полминуты щёлкнул ключ и распахнулась дверь, через которую выглянула вся фигура моего цербера с вытянутой шеей и с широко раскрытыми недоумевающими глазами. Поняв, наконец, в чём дело, он укоризненно покачал головой, и, ни слова не говоря, сердито вышел из камеры.

Помню ещё и такой случай. Однажды сижу я вечером за своим столиком и читаю книжку. Вдруг слышу явственный голос, падающий откуда-то сверху, вроде реплики библейского Иеговы:

— Табак есть?

— Вот тебе и на! — промелькнула у меня страшная мысль. — До галлюцинации дело дошло...

Через минуту тот же голос снова разразился у меня над головой:

— Табак есть?..

Тут только я догадался, что вопрошающий говорит мне из верхней камеры, приложивши, должно быть, губы к той щели в его полу, которая образуется при прохождении через этот пол (мой потолок) печной трубы, идущей снизу вверх через все этажи. Я вскочил на стол и, тоже по возможности приблизив губы к той же щели в моём потолке, поспешил ответить:

— Табака нет, сам не курю, но могу достать...

У нас завязался таким образом разговор. Это для меня было целое открытие. Оказывается, я могу не только входить в контакт посредством перестукивания с соседними камерами по горизонтали, но и непосредственно разговаривать с обитателями соседних камер по вертикали. Мой собеседник в кратких словах познакомил меня с теми злоключениями, которые привели его сюда, в это «место злочно, место упокойно». Он — рабочий, оказавшийся жертвою подозрения в каком-то уголовном преступлении. Засаженный в узилище без копейки денег, он не мог выписывать себе из лавочки необходимые предметы и очень страдал вследствие отсутствия у него табака. Я пообещал помочь его горю.

На следующий день я выписал четвертушку табаку. Но тут передо мною стал вопрос, как передать соседу этот табак, не возбуждая подозрения тюремного начальства о наших контрабандных сношениях. И вот я начинаю производить опыты с просовыванием через щель длинного (во всю длину листа писчей бумаги), но узкого пакетика, в котором тонким слоем распластан табак. О восторг, опыт удаётся... Пакет вышел верхним концом из края щели и адресатом благополучно получен. Хуже дело обстоит со спичкой: она слишком толста, и пакет такого же типа не протискивается с нею через щель. А сосед голосом, полным безумного нетерпения, торопит:

— Скорее, товарищ... Так курить хочу, что не можно и вытерпеть...

А тут как нарочно слышны приближающиеся к камере шаги надзирателя... Нужно соскакивать со стола и делать вид, что углубился в чтение книги. Наконец, я преодоле-

ваю и это препятствие: спичка, разделённая по продольной оси пополам, вместе с той стенкой коробки, о которую её можно зажать, проходит благополучно через щель, исторгая из груди моего приятеля сладострастное рычание:

— А... А... есть. Спасибо, товарищ...

На другой день, узнавши через моего нового приятеля, что он гуляет на дворе в том же секторе ¹, в который обыкновенно выпускают и меня, я засунул в снег через решётчатую ограду пакет со всей четвёркой табаку и с коробкой спичек, в том предположении, что предупреждённый об этом мой сосед в свою очередь подстережёт удачный момент и отыщет проворной рукой предназначенный для него подарок. И этот мой план, хотя и очень рискованный, требовавший двойного шанса на успех, удался как не надо лучше.

Впоследствии же я умудрился передавать тому же соседу и сахар, и булки, и другие продукты потребления, в которых он нуждался, завёртывая передачу в вымазанную чернилами бумагу и подбрасывая пакет в тёмный уголок между двумя выходными дверями, ведущими во двор. Я пользовался при этом тем обстоятельством, что один надзиратель провожает меня до первой выходной двери, а второй «принимает» уже во дворе по выходе из второй двери, в промежутке же между двумя дверями я на некоторую долю секунды остаюсь без присмотра. При этом я совершенно верно рассчитал, что никто из других проходящих, устремляясь по инерции от двери к двери, не станет без всякого повода блуждать глазами в промежутке между дверями, и таким образом мой пакет попадёт по настоящему адресу.

До какой дерзости может доходить иногда инициативная мысль беспокойного пленника, видно, между прочим, и из следующего примера. Это было в период вторичного моего пребывания всё в той же «предварилке» — в 1903 г.

Моим соседом по камере с левой стороны был Ив. Ив. Радченко, мой сотоварищ по революционной работе, с

¹ Для прогулки заключённых во дворе тюрьмы была выстроена круглая клетка, разделённая на дюжину секторов, отделённых один от другого высокими заборами, чтобы гуляющие не могли видеть друг друга, а от двора отгороженных деревянными решётчатыми оградами. Вход в каждый сектор шёл из внутреннего круга через дверцы. Над этим внутренним кругом возвышалась башня, с высоты которой три марширующих один за другим надзирателя наблюдали за гуляющими пленниками.

которым мне хотелось побеседовать по душам, не доверяясь скромности стен. Я составил план проведения тонкой бечёвочки из моего окна в его окно, передвигая которую можно было бы пересылать друг другу сколь угодно длинные письма. В основу этого плана был положен тот известный мне факт, что у Радченко одно стекло в оконной раме было разбито, а так как это было лето, то ему не спешили вставить новое стекло.

Не буду подробно описывать, как я, тщательно вымеривши и рассчитавши расстояние между окнами и глубину оконной амбразуры, сделал удочку сначала из скрученной бумаги, связывая колено с коленом нитками, а потом, после испытанных неудач в этом направлении, из более прочного материала, пользуясь лучиночками от коробки из-под малины. Удочка была в сажень длиною, с загнутым в виде глаголя концом. Много я натерпелся страху и отчаяния особенно после того, как просунутая через отверстие в металлической пластинке моего окна (в целях вентиляции одно стекло в раме заменялось такого рода решетом) тяжёлая бумажная удочка обломилась и повисла на нитке за окном, заставив меня промучиться затем часа два, чтобы вытянуть её обратно через отверстие в камеру. А всё-таки в конце концов мой сосед поймал за хвост просунутую в его окно ниточку, а через неё и прочную бечёвочку. Вряд ли мои эмоции творческого восторга в это время уступали изобретательским радостям Эдиссона.

Наш «телеграф» исправно работал всю ночь. Но на утро, во время прогулки, я заметил, что чёрная ниточка, которая была оставлена нами на случай продолжения почтовых сношений между двумя камерами, всё-таки заметна в виде лёгкой паутинки на грязно-жёлтом фоне тюремной стены и может обратить на себя внимание надзирателей. Рисковать дольше не стоило, и мы с Радченко согласились уничтожить следы нашего почтового приспособления.

Все эти эпизоды свидетельствуют, между прочим, и о том, что возможностей для сношения между заключёнными было многое множество, и никакие меры борьбы тюремного начальства с этим «злом» не могли его пресечь. Разговоры посредством перестукивания в «предварилке» пользовались полным правом гражданства. Перестукивались не только с соседними камерами справа и слева,

но и по паровой трубе — по вертикали — с любым этажом. Все книжки тюремной библиотеки носили следы разговоров между заключёнными посредством чуть заметного укола иголкой под буквами. Не без успеха можно было подбросить скомканную записочку через забор к соседу во время прогулки. Не брезгали и возможностью дать знать о себе путём росчерка своей фамилии в камере, куда предварительно приводят заключённого, позванного на свидание, или же в бане, на заборе во время прогулки и в тому подобных местах. Изредка даже можно было видеть кого-нибудь из товарищей по заключению, если при путешествии по веренице лестниц несколько замедлить ход к величайшей досаде надзирателя или поторопиться при повороте за угол, причём другой заключённый или покажется сзади по той же стороне, из-за угла или мелькнёт спереди,— мелькнёт лишь на одно мгновение, как метеор, но и этого бывает иногда достаточно, чтобы судить о том, кто ещё из знакомых лиц попал под гостеприимную сень «предварилки».

Но, как видит читатель, помимо всех этих традиционных методов систематического нарушения правил об «абсолютной» изоляции друг от друга заключённых существовали ещё гораздо более интересные способы общения между пленниками, обязанные своим происхождением индивидуальному остроумию изобретателей этих способов.

Но само собой разумеется, что наиболее выпуклыми моментами в жизни каждого политического пленника являются не хождение на свидание с «невесогой» (или сестрою, матерью, а иногда и просто «троюродной тётушкой»), не случаи столкновения с тюремным начальством, не обыски, которые производятся в камере заключённого, и вообще явления не того порядка, о котором шла речь выше, а вызовы в жандармское управление на допрос.

Проезд по улицам города в карете, хотя и с занавешенными окнами, хотя и под присмотром двух жандармов, всё-таки ласкает истстрадавшуюся тоскою по воле души и приятно будоражит нервы. Мелькающие через щель, оставленную занавеской, каменные громады домов, попадающие на одно мгновение в поле зрения силуэты снующих взад и вперёд людей, «обжирającychся, чорт их возьми, прелестями свободы», проезжающие мимо пролётки с красивыми нарядными женщинами,— всё это шевелит на дне сердца какие-то долго молчавшие струны и

приятно тревожит душу, как призрак чего-то красочного, когда-то пережитого, но теперь столь же далёкого, как счастливое золотое детство. Каждая метнувшаяся в глаза подробность «вольного мира» — ведь это же целый полнотонный аккорд из роскошной симфонии, сладко удаляющийся по нервам...

К сожалению, неотступная мысль о предстоящей беседе «по душам» с Кичиным или с кем там ещё придётся отравляет всё удовольствие путешествия. И действительно, есть от чего притти в состояние тревожного, беспокойного выжидания. О, они очень вежливы, эти враги. Они будут называть тебя по имени-отчеству и папироску любезно предложат, и заботливо справятся о здоровье, и обедом очень вкусным во время перерыва накормят, но всё это означает, что ох, милый человек, держи ухо востро. Умный инквизитор стережёт каждую твою фразу, каждый твой звук, по отношению к которым более всего применима поговорка: слово не воробей, вылетит — не поймаешь... Сейчас начнётся нешуточная борьба. Жандарм и прокурор начнут закидывать свою жертву перекрёстным огнём вопросов, стараясь улучшить момент, чтобы поразить её неожиданностью преподнесения тех улик, которые им удалось так или иначе получить. С своей стороны я, жертва, должен врать так искусно, чтобы не быть застигнутым врасплох и парировать нападение проклятых скорпионов осторожными, не лишёнными иногда юмора и весёлого лукавства, репликами.

Нужно заметить, что в те времена, о которых здесь идёт речь, не существовало такого твёрдо установленного этического правила или традиций, в силу которых каждый уважающий себя политический пленник должен был бы реагировать на допросах гордым отказом давать какие бы то ни было показания. Только на II съезде с.-д. партии в 1903 г. была вынесена резолюция (да и то лишь рекомендующая, а не обязывающая) с предложением всем попадающим на жандармские допросы товарищам отказываться от дачи показаний.

Я не знаю, для многих ли эта резолюция впоследствии имела силу категорического императива, но что касается «декабристов» — участников процесса 1895 г., то тогда, повидимому, никому из них и в голову не приходила мысль держаться тактики абсолютного молчания. Казалось, что отказаться от допроса — это означало бы пустить

в ход героическое средство, граничащее с донкихотством, в результате которого получится очень крутая расправа с «героем», давшим своей этой тактикой формальную возможность жандармам валить на него всё, что угодно, с подведением его деяний под какую угодно убийственную статью...

А между тем,— подсказывала лукавая мысль,— если умненько вести себя на допросах, оставляя за собою право не называть имён лиц, которыми почему-либо интересуются жандармы, то в случае удачи можно даже оказать услугу и делу, друзьям, отвлекши внимание ищеек от настоящего следа.

Опыт каждого из нас доказал противное. Во-первых, в такого рода игре трудно перехитрить противников, вооружённых целым арсеналом агентурных и свидетельских данных. А во-вторых, вовсе уж не так бывают страшны последствия для тех, кто вполне прилично ведёт себя на допросах. Так, например, лучше всех держал себя на допросах Владимир Ильич. И он, если хотите, не отказался от показаний, но его протоколы дознания тощи, как фараоновы коровы. Он не отказывается признать факт своей поездки летом 1895 г. за границу «для приобретения нужных ему книг» (причём жандармское дознание иронически замечает, что он смог назвать только 2 книжки, вывезенные им из-за границы), но никакого, изволите видеть, эмигранта Плеханова он за границей не видел и не знает. С рабочими он не вступал в сношения. Прокламаций не писал. По поводу же написанных его рукою воззваний объяснения давать не желает. Когда жандармы ссылаются на уличающие его показания других участников процесса, он требует, чтобы ему дали в руки подлинники протоколов с этими показаниями, а так как ему в этом отказывают, то и он считает себя в праве отказаться давать дальнейшее объяснение по интересующим жандармов вопросам.

И вот, можно было бы подумать, что громы и молнии департамента полиции и 4 министров более всего обрушатся на этого дерзкого и упорствующего врага, а на самом деле оказалось, что он разделил одинаковую участь с остальными членами своего кружка, да ещё при этом получил привилегию уехать на место своей ссылки по проходному свидетельству, а не этапным порядком.

Вернусь, однако, к себе. Читатель уже знает, что я был пойман с таким одиозным и огромным «поличным», которое лишало меня всякой возможности настаивать перед жандармами на своей девственно чистой политической невинности. В принадлежности «к преступному сообществу, именующему себя» и т. д., как и все прочие, я виноватым себя не признал, но что касается моей работы на мимеографе, то это действительно было; заинтересовался, мол, этим делом я исключительно из любопытства к технике предмета и сам себе смастерил все приспособления (о, какой гомерический хохот я вызвал у жандармов, когда запутался в объяснении по части паяльной техники при устройстве типографского валика; на самом деле валик был приготовлен Гуляницким, а Антушевский почему-то вздумал было свалить всю вину за этот «преступный акт» на свою неповинную голову).— Были ли у меня соучастники? — Нет, никто мне в моём этом деле не помогал.— Сам ли составлял текст для напечатания? — Нет, получил от лица, имени коего назвать не желаю.— С какою целью оказались в комнате припрятанными запасы нелегальной литературы по большому количеству экземпляров? — Некто мне отдал на хранение, но имени назвать не могу.— Знаком ли я с содержанием тех брошюр, которые «хранил» у себя? — Нет, не знаком, не удосужился прочесть...— Знаком ли я с имярёком таким-то и узнаю ли его на предъявленной мне карточке? — Нет, не знаком и никогда не встречал. И т. д. и т. д.

Но вот, оказывается, у арестованного Антушевского находят квитанцию на моё имя об уплате денег за наём парохода «для прогулки». Кроме того, у него сохранился написанный мною проект кассы взаимопомощи, моим же почерком набросанный рецепт массы для типографского валика, схематический рисунок печатных приспособлений и ещё что-то,— словом, полный комплекс улик, устанавливающих факт моего знакомства с Антушевским и зловредного влияния на него. Для пущей убедительности мне прочитывают довольно обстоятельное показание Антушевского, который признаётся, что действительно познакомился со мною тогда-то и тогда-то, получил от меня то-то и то-то, нанял по моему поручению пароход «Туллон» и сам участвовал во время прогулки на этом пароходе и т. д. Как я уже сказал выше, он даже немного наклепал на себя (должно быть, растерялся парень),

признав себя, вопреки истине, изготовителем типографского валика, отчего он, впрочем, стал отрекаться на последующих допросах, но тщетно: жандармы ему не поверили.

После всего этого мне пришлось подтвердить, что я действительно знаком с Антушевским, и прогулка на пароходе была организована мною по желанию нескольких лиц, желавших повеселиться, — причём я, как чиновник, имевший в запасе несколько лишних десятков рублей, легче всего мог выполнить наше общее желание — погулять, поплясать, попеть. Мною лично руководило стремление ближе присмотреться к рабочим в интересах моего будущего беллетристического творчества. На пароходе пели обычные обывательские песни, выпивали, закусывали, болтали, смеялись, танцевали, — а быть может, в том или ином углу вели беседы на книжные темы — о крестьянской общине, о малоземелье и т. п., но решительно никаких речей противоправительственного содержания никто не произносил. И т. д. и т. д.

Упоминание о беседах на темы об общине, деревенских нуждах и т. п. делается на тот случай, если по «агентурным данным» жандармы будут хорошо осведомлены о характере прогулки — «с речами». Были, мол, разговоры, но на самые невинные общественные темы... Реставрировать же эти разговоры и речи нет никакой возможности — стенографистов, ведь, на пароходе не было, поэтому кроме более или менее «достоверных» гипотез ничего другого в распоряжении жандармов не будет.

Но как бы ни были осторожны показания, неизбежны бывают и некоторые промахи со стороны допрашиваемого. Я помню один случай такого промаха и со мной, когда жандармы убедили меня, что факт моего знакомства с Галактионовым вполне установлен, причём я решил, что мне лучше всего будет не отрицать этого факта, чтобы излишней таинственностью в этом несущественном эпизоде не усугубить внимания жандармов к моему Галактионову, а наоборот, по возможности отвлечь от него это внимание пренебрежительным отзывом о случайности нашего с ним знакомства (заходил, мол, ко мне раза два «немудрящий» такой паренёк взять какую-нибудь простенькую книжку из моего книжного шкафа для упражнения в чтении, но объектом пропаганды он решительно

никогда для меня не был и не мог быть и т. д. и т. д.). Мне и в голову при этом не пришло, что сам Галактионов будет упорно отрицать знакомство со мной. А между тем как раз последнее обстоятельство и имело место.

К счастью для моей больной совести, я, кажется, не очень испортил дело признанием своего знакомства с Галактионовым. Так или иначе я несколько успокоился, узнавши впоследствии, что Галактионова приговорили не к ссылке, а только к двум годам надзора, как пассивную жертву интеллигентских обольщений.

Был ещё один случай, когда я, можно сказать, пересолил... У меня стали спрашивать о моём сожителе по квартире — Гуляницком. Предполагая, что у него при обыске ничего компрометирующего не нашли (а это оказалось на самом деле не так), я решил отвести от него всякое подозрение жандармов.

— Н-ну,— пренебрежительно отозвался я,— это обыватель, от которого я старался всячески законспирироваться... Я даже подозреваю,— с конфиденциальной доверчивостью признался я жандармам,— уж не он ли на меня донёс в охранку...

Но хохот жандармов прервал мою речь.

— Ну, уж это вы слишком хитрите,— заметил, смеясь, Кичин. Я с видом оскорблённой невинности поспешил умолкнуть.

В общем и целом, из 88 лиц, привлекавшихся к делу, нашлась кучка в 5—6 человек, которые не просто старались отбояриться в своих показаниях какими-нибудь выдумками или пустяками с явным намерением втереть допрашивающим очки в глаза, а стали болтать всё, что знали,— не за страх, а за совесть, давши, таким образом, ценный материал, на котором прокуратура и построила всё своё обвинение. К числу этих откровенных свидетелей принадлежал, между прочим, интеллигент Михайлов (зубной врач), уличённый впоследствии в провокаторстве, и рабочий Галл, тоже оказавшийся более, чем предателем.

К счастью для моей группы, все эти лица, очень хорошо осведомлённые о деятельности «стариков» и «чернышевцев», не могли дать никаких сведений о нашей кружковой работе. У Галла только оказались каким-то образом данные о поездке по Неве на «Тулоне» (очень вероятно, что он был в числе гостей), и жандармы, совер-

шенно не удовлетворённые моими отзывами об этом эпизоде, а также показаниями Антушевского, имели возможность через Галла с достаточной полнотой восстановить картину нашей импровизированной прогулки.

Административный приговор для всех участников дела получился довольно мягкий. Почти все ответственные с точки зрения жандармов персонажи получили по 3 года Восточной Сибири, за исключением Запорожца, который в качестве предполагаемого лидера сообщества получил 5 лет ссылки. Ергин, квалифицируемый как народоволец да ещё имевший контакт с народовольческой типографией, работавшей и на социал-демократов, сначала был приговорён к 8 годам ссылки, но министр внутренних дел уменьшил этот срок до 5. Таким же образом и мне первоначальный проект 5-летнего срока ссылки был заменён приговором, который уравнивал меня с положением членов кружка В. И. Ульянова (ссылка на 3 года в Восточную Сибирь).

В феврале 1897 г. я был выпущен вместе с остальными, приговорёнными к ссылке, на свободу с тем, чтобы через три дня явиться в пересыльную тюрьму для отправки нас через Москву в Сибирь. Не буду описывать своего состояния в эти дни свободы. Оно не отвечало тем мечтам о вольной волюшке, которые вынашивались мною в течение многих месяцев сидения в своей камере. Как это ни странным покажется, но факт тот, что я как будто отвык от жизни в обстановке обывательской свободы. 3 дня я ходил как в угаре. Как будто бы и смеялся, но право же не потому, чтобы было очень уж весело; как будто бы настраивался и на деловой лад, готовясь вступить в новую обстановку бытия, но и деловое настроение как-то не вытанцовывалось. Когда же снова по истечении нескольких дней этой «нормальной», свободной жизни я попал в промозглые стены тюрьмы, уже на этот раз пересыльной, то почувствовал себя как бы в привычной стихии.

Вскоре затем я уже мчался в особом «нашем» вагоне за железной решёткой вместе с теми, к которым, по представлению жандармов, я примыкал, как их сообщник, но с которыми на самом деле успел впервые познакомиться только в этом вагоне. Нас было там 6 человек: кроме меня — ещё Кржижановский, Цедербаум, Старков, Ванеев и Запорожец.

Моё первое знакомство с этими лицами в первые часы нашего путешествия носило несколько натянутый характер. Спутники мои представляли монолитную, совершенно спевшуюся группу, в глазах которой я был чужеземцем, осколком радикальной интеллигенции старой формации, случайно лишь попавшим в ту революционную струю, где они чувствовали себя в своей собственной стихии, как рыба в воде. С своей стороны и я на первых порах видел в их лице гордую аристократию ума, людей, знакомых, чорт возьми, с марксистской философией непосредственно по «Анти-Дюрингу»! (В те времена «Анти-Дюринга» можно было читать только в подлиннике на немецком языке, что для меня было недоступно.) Я очень опасался, что мои новые товарищи будут обидно смотреть на меня сверху вниз, как это и подобает «ульяновским орлам», увидевшим у себя под одной крышей скромного залётного дрозда.

Чтобы не попасть в смешное положение, я не спешил откровенно признаться перед нашими «диалектиками», что никак не могу уразуметь, как это так моя шапка есть в одно и то же время и шапка и не шапка, а также и того, как можно было бы обойтись в своих суждениях без формальной, аристотелевской логики и сдать в архив закон исключённого третьего...

Впрочем, не прошло и 24 часов, как я уже почти-что окончательно сдружился со своими спутниками и охотно принимал участие в их оживлённой болтовне. То обстоятельство, что я в качестве «губернского секретаря» получаю суточных не 10 коп., а 14 коп. (по 2 коп. лишних с каждого чина), не только не вызывало неприятных ассоциаций у моих новых друзей в связи с моим бюрократическим прошлым, а возбуждало лишь добродушные шутки (живой, мол, пример того, как, согласно законам диалектики, один и тот же человек может быть в одно и то же время и чиновником и не-чиновником)...



ПО ДОРОГЕ В СИБИРЬ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ССЫЛКИ

(1897—1898 гг.)

Всех, как снежиночек в поле,
Буйный нас вихрь разметал.

*Из неизданного стихотворения
Г. М. Кржижановского*

В Москве нас всех поместили в Бутырскую тюрьму, где нам пришлось сидеть около месяца в ожидании дальнейшего движения воды. Нас поместили в Часовой башне, все 3 этажа которой (однокамерные) были уже полны политическими, предназначенными так же, как и мы, к отправке в разные более или менее отдалённые места.

Под кровлей этой башни собралось несколько десятков человек очень пёстрого состава. Кроме нас, петербуржцев, тут были и москвичи (П. А. Оленин, братья Захлыстовы и др.), и южане (например, Юхоцкий — одессит, Повелко-Поволоцкий — из Чернигова, если не ошибаюсь), и поляки из Варшавской цитадели и т. д.

Не помню уж как, согласно или вопреки традиционному тюремному режиму, но нам было разрешено продовольствоваться на коммунальных началах. Был избран староста. Каждый день работа по приготовлению обеда (или, лучше сказать, по дежурству в кухне) и по распределению обеденных порций ложилась на двух дежурных.

Казалось бы, что истомлённые однообразием одиночного заключения мы должны были бы радоваться перемене обстановки: ведь, как-никак, а живём мы теперь на миру, среди товарищей, объединённых до известной степени общностью одинаковых политических симпатий и антипатий и общими интересами борьбы с одним и тем

же врагом... Но не тут-то было. Удушливая атмосфера Часовой башни заставляла каждого из нас нравственно задыхаться. Заниматься или читать серьёзную книжку при том относительном, а если хотите, то и абсолютном перенаселении нашего тюремного муравейника, которое в конце концов получилось, не было никакой возможности. Целый день во всех этажах башни и на крошечном, прилежавшем к ней, двореке звучали смех, говор, песни, шум...

Попытки со стороны некоторых из заключённых, особенно болезненно реагировавших на сутолочную обстановку жизни в нашем общежитии, устроить нейтральную комнату для чтения и занятий привели лишь к тому, что эту комнату фактически монополизировала группа петербуржцев вместе с Федосеевым и некоторыми из польских товарищей (интеллигентами). В то время, как в верхнем 3-м этаже царила относительная тишина, в среднем помещении стоял дым коромыслом, напоминая бурсу Помяловского. Тут рассказывались, при взрывах гомерического хохота, весёленькие анекдоты (иной раз слишком уж пикантные), добродушно или сердито переругивались любители полемики (случалось, бывало, и «с крупной солью»), отпускались грубоватые шутки (в стиле весёлых персонажей из Декамерона), но время от времени в разных углах многие переходили и к мирным, задушевным беседам: рассказывали о разных любопытных приключениях из своих революционных похождениях, вспоминали кто, когда и при каких обстоятельствах попал в лапы жандармов, кто и чем себя скомпрометировал на допросах и т. д. Бывали беседы и на философские темы, причём ни излишней страстности, ни узкой односторонности каких-нибудь ортодоксов в этих беседах не было и следа. Философствовали по большей части очень благодушно, на манер того анекдотического украинца, который по-своему усматривал принцип единства среди многообразия вещей: «О це ж хата, о це ж шинок, о це ж храм божий... О так и чоловік... живе, живе, та и помре...»

Короче сказать, Часовая башня поляризовалась. На одном её полюсе сгруппировались представители того нового течения, которое претендовало на захват революционных стихий особыми методами борьбы, рассчитанными на рост классового самосознания рабочих масс. С другой стороны, на противоположном полюсе столпи-

лись элементы разнообразной и многогранной, анархически настроенной, революционной богемы, для которой все методы борьбы были хороши, лишь бы только в них превалировал лозунг «долгой самодержавие»... Первые, по их мнению, были начётчики, книжные черви, «доки», «академики», возившиеся со своим Марксом и Энгельсом, как с писаной торбой. Вторые предпочитали здравый смысл и русскую сметку всякой книжной премудрости и по части теории были гораздо более беззаботны. Первые отрицательно относились ко всякого рода революционному авантюризму. Вторые весь смысл своей жизни видели в борьбе, полной красочных эффектов и героических приключений...

Среди группы социал-демократов особенно радостно и приветливо был встречен в башне водворённый туда в одно прекрасное утро Николай Евграфович Федосеев. Это очень интересный человек, и было бы грешно не воспользоваться случаем, чтобы не сказать о нём несколько слов.

Когда он появился в Бутырской тюрьме, ему было на вид лет 27—28. Но он уже насчитывал в своём прошлом чуть ли не полное десятилетие, протекшее в обстановке тюрьмы и ссылки. Вышел он, кажется, из недр народного довольства, но очень рано самоопределился как марксист и был одним из самых ранних прозелитов социал-демократического учения.

Он очень много работал над собранием и обработкой материалов из так называемой эпохи великих реформ, имея в виду противопоставить точке зрения либералов, кричавших о том, что освобождение крестьян со всеми его политическими последствиями было актом либеральной политики сверху, марксистскую точку зрения, в силу которой исторически складывавшаяся экономическая необходимость и социальные сдвиги снизу (чрезвычайно участвовавшие перед эпохой освобождения крестьянские бунты) вынудили верхи поторопиться со своими половинчатыми реформами.

Уж право не знаю, как он умудрялся, шатаясь по тюрьмам и ссылкам, раздобывать литературные и статистические источники, но так или иначе очень солидная рукопись свидетельствовала о его большой работе в этом направлении. Смерть помешала довести ему свой большой труд до конца, и его рукопись погибла, переходя из

рук в руки ссыльных товарищей, не дойдя до надёжной пристани какого-нибудь книгохранилища. Но по отзывам людей, успевших ближе познакомиться и с Федосеевым и с его литературно-научными работами, в лице покойного погибла большая научная сила.

Николай Евграфович отличался изумительно нежной, отзывчивой душой. Он чисто по-женски тянулся к цветам и любил вспоминать о них, как о чём-то красочно-приятном в жизни. Не было лучшей сиделки у постели больного товарища, чем Федосеев, и когда на очереди встал вопрос — взять под присмотр и заботливую опеку несчастного Запорожца, Федосеев с большой охотой возложил на себя эту обязанность. Его душа не была чужда и поэтического творчества, хотя немногие знали о том, что он писал стихи.

И вот по пути в ссылку над этим человеком, с душой болезненно чуткой к человеческому страданию, вдруг повисла смрадная туча из пошлейших выпадов и обвинений его в эгоизме, в буржуазных привычках и наклонностях (его обвинителям не давали спать два десятка пудов его багажа... Этот багаж состоял из книг, которые Федосеев подбирал для своих работ) и т. д. и т. д.

К сожалению, долгие годы пребывания с молодых лет в тюрьме и ссылке наложили на его психологию печать какой-то монастырской отрешённости от жизни и болезненной чувствительности. Вместо того чтобы брезгливо отмахнуться от того или иного факта из области скандальной тюремной или ссыльной хроники, вместо того чтобы отгородить себя непроходимым карантинном от любителей дразг, он, словно считая себя хранителем традиционной товарищеской этики, сам бросался в бой, в защиту колеблемых основ товарищества, если где-нибудь начинало пахнуть дракой.

Борьбу с Федосеевым не на жизнь, а на смерть (к сожалению, в буквальном смысле этого страшного слова) взяли на себя Оленин и Юхоцкий. По прибытии партии в Верховленск дело кончилось третейским судом между сторонами. Юхоцкий развил колоссальную энергию в этом печальном деле: собирал со всех концов Сибири «компрометирующие» Федосеева свидетельские показания, рассылал во все стороны размноженные на папиросной бумаге протоколы суда и дал, повидимому, аннибалову клятву довести историю до её «заключительного аккорда».

Суд, как всегда в таких случаях водится, кончился ничем. Но нервы Федосеева не выдержали всей гнусной обстановки склоки, и вот в одну из минут упадочного состояния духа этот талантливый и энергичный юноша трагически сошёл со сцены. Он покончил с собой выстрелом из револьвера.

Рассказывая об этом грустном эпизоде, я чувствую нравственную потребность отметить то обстоятельство, что вина за его печальный исход лежит не только на Юхоцком и Оленине, не только на непосредственных участниках драмы, но и на всех нас, т. е. на тех, кто знал хотя бы издали о всё растущем клубке запутавших несчастного Федосеева дразг и не возвысил своевременно своего голоса, не сказал своего внушительного коллективного «довольно, остановитесь, несчастные»... Если бы общественное мнение политической ссылки не оказалось бы в нужный момент в нетях, если бы оно было достаточно чутко, если бы наша коллективная совесть не уснула под убаюкивающий шумок ласкающихся о зелёные берега Енисея волн или густой листвы таёжного леса, то, может быть, финал глупой истории был бы иным... Впрочем, что толку в сожалениях задним числом...

К числу отрадных явлений из нашего бутырского перепутья прежде всего хотелось бы отнести привхождение в нашу товарищескую семью 10 человек поляков, в том числе 3 интеллигентов из Польской партии социалистов и остальных социал-демократов рабочих¹.

В лице этих последних перед нами светлой точкой маячила близкая-близкая картина того нового мирка, который уже вырисовывался на фоне нашей русской действительности. Чувствовалось, что вырастала новая, не только мощно-революционная, но и культурная стихия. Не то, чтобы польские рабочие поражали нас своей квалифицированной грамотностью (этим свойством отличались немногие из них), но они были необычайно чутки, — я сказал бы, культурно чутки, — ко всякому свежему, живому слову, могущему приоткрыть перед ними новые горизонты мыслей. Они очень хорошо понимали значение классовой пролетарской солидарности и с некоторым вежливо-молчаливым недоумением относились к той неразберихе, которая по глупейшим поводам разбрасывала

¹ В том числе Петрашек, Чекальский, Проминский, Ковалевский и другие, фамилий которых не помню.

в разные стороны нашу бутырскую интеллигенцию. Одним словом, на фоне тех анархических нравов «Запорожской сечи», которые царили в среднем этаже башни, новая, здоровая струя культурной выдержанности, вдумчивости, деликатности и дисциплинированности, ворвавшись в нашу душную атмосферу, производила сугубо выгодное впечатление.

Поляки-рабочие не считали, повидимому, праздность матерью всех добродетелей. Большинство из них основательно засело за арифметические или алгебраические учебники, охотно соглашаясь на наши предложения заниматься с ними. Один ткач, весёлый малый, забавлявший нас в минуты уныния «чревоуважением» и тому подобными импровизациями, состряпал из поленьев дроз на чрезвычайно простых началах самый элементарный, какой только можно себе представить, ткацкий станок, на котором с большим успехом стал ткать шарфы и пояса.

Нечего и говорить, что между петербуржцами и поляками с первого же момента по прибытии последних установились дружественные отношения. Начались бесконечные взаимные интервью: где происходили стачки и демонстрации, при каких обстоятельствах, кто был арестован, осталась ли на местах надёжная смена выбывшим из строя и т. д. и т. д.

Поляки познакомили своих русских товарищей с множеством польских революционных мотивов, для которых «наш собственный поэт» Глеб Максимилианович Кржижановский сочинил соответствующие тексты либо оригинального характера, либо в переводах. Это он именно сочинил на мотив патриотической польской «Варшавянки» песню «Вихри враждебные веют над нами», которая с тех пор и пошла гулять по белу свету. Точно так же его поэтическому перу принадлежит перевод песни «Червонный штандарт» («Красное знамя») и «Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами», — песни, по своему мотиву напоминающей сурово величавый хорал.

Приблизительно в середине марта наша первоначальная группа (петербуржцы) была посажена в вагон для дальнейшего следования в Красноярск. Сопровождал нас конвой во главе с каким-то подполковником (или полковником), для которого у нас подвернулось как-то подходящее прозвище «Белуга», так что то и дело в наших интимных беседах слышалось: «нужно будет на

этот счёт «Белугу» пощупать», «как бы так «Белугу» провести за нос», «хорошо бы этого «Белугу» повесить» и т. п.

И всё-таки этот «Белуга» был сносен. В Красноярске мы встретили на первых порах более придиричивое отношение к нам, так что пришлось выдержать бой и с нашим конвоем, и с тюремной администрацией, предъявив свои требования. Но, видно, Красноярску было далеко до какой-нибудь Кары, да и времена были не прежние. Вызванный нами тюремный инспектор предпочёл кончить с нами дело миром, и мы, получив в своё распоряжение какой-то сравнительно приличный деревянный барак, стали чувствовать себя недурно. Впрочем, когда через каждую неделю стали прибывать партиями все те, которых мы оставили в Москве, получилась в конце концов знакомая уже нам обстановка скученности, глухой ненависти одних против других и снова вспыхнувших дразг.

Из моих красноярских воспоминаний отмечу только впечатление от встречи в тюрьме с группой отправляемых на поселение в Якутскую область духоборов. Они помещались в отдельном корпусе на положении уголовных. Грустная повесть этих людей об издевательствах над ними со стороны всякого рода попов, держиморд, судебных чиновников и тюремных палачей ударяла по нервам. К сожалению, никому из нас в то время и в голову не пришло записать бесхитростные рассказы духоборов в памятную книжку, чтобы использовать затем этот материал, как хорошее агитационное средство. Несмотря на то, что мысль о поддержке партией рабочего класса всяческой оппозиции недовольных элементов против существующего порядка не была чужда сознанию только что народившейся в России социал-демократии, представители этой последней ещё не умели широко использовать этот лозунг. Мне помнится даже, что среди политических Красноярской тюрьмы далеко не все были единодушны по вопросу о том, стоит ли нам, «соли земли», близко подходить к группе уголовных, пострадавших не столько за свои политические, сколько за религиозные убеждения. Из всех нас ближе других подошёл к духоборам и любовнее всех отнёсся к ним Н. Е. Федосеев.

Прошло несколько недель томительного выжидания в тюрьме дальнейших моментов определения нашей судьбы, и наступило, наконец, вожаемое время оконча-

тельного вырешения в жандармских и генерал-губернаторских сферах вопроса о том, где кому из нас придётся осесть. Этот вопрос давно уже был центром нашего внимания и наших прогнозов. Мы с очень заметным беспокойством ожидали разрешения его и порядочно нервничали вследствие томительной неизвестности, потому что и в самом деле — одного сорта коленкор быть упрятым в какой-нибудь Туруханск, и совсем другое дело получить назначение куда-нибудь в благословенные места Минусинского уезда.

Скоро выяснилось, что меня отправляют в с. Казачинское, Енисейского уезда, Ванеева — в самый Енисейск, Старкова и Кржижановского — в Минусинский уезд, большинство же остальных — в Иркутскую губернию. Каждому из нас нужно было ждать своей очереди, когда подберётся партия уголовных для этапного путешествия в данном направлении. Прежде всего наступил мой черёд.

Прежде чем, однако, расстаться окончательно с Красноярской тюрьмой и перейти к описанию новой фазы моего сибирского подневолья, я позволю себе, пользуясь подходящим случаем, набросать очень беглыми штрихами эскизные портреты наиболее импонировавших мне лиц из числа товарищей по путешествию в Сибирь и по пересыльным тюрьмам. В сущности говоря, мне хотелось бы ограничить свои характеристики только кружком лиц, с которыми меня связали товарищ прокурора Кичин и судьба и с которыми я успел уже до такой степени сжиться, что расставаться с ними мне было очень грустно, как с очень близкими людьми. И если в *pendant* к этому я набросаю ещё портрет П. А. Оленина, представителя другой породы людей, стоявших в оппозиции к петербуржцам, то этим я исчерпаю поставленную перед собой задачу целиком.

Начну с Ю. О. Цедербаума. Его огромная память удерживала колоссальный груз имён, дат, фактов и цитат, вообще всего, что случайно или в известной системе попадало в его обширную умственную кладовую. Он являлся для нас как бы живым энциклопедическим словарём, и если кому-нибудь нужно было восстановить утраченное памятью то или иное имя или тот или иной факт — из истории, например, революционной борьбы в России, то стоило только обратиться к Цедербауму, и тот почти всегда мог дать исчерпывающую справку по

данному вопросу. Коротая время в вагоне, мы даже отделявали над феноменальной памятью Цедербаума ряд арифметических опытов: предлагали ему устно умножить пятизначное число на пятизначное, и правильный ответ у него получался гораздо скорее, чем если бы кто-нибудь из нас стал находить искомый результат с карандашом в руках. Он был очень недурной полемист — насмешливый, остроумный, хотя до красивого пафоса никогда не возвышался и большим красноречием не отличался. Наоборот, если ему приходилось выявлять свою сложную мысль, выкраивая один рогатый силлогизм вслед за другим, а не отделяваясь саркастическими репликами, это, казалось, стоило ему значительных усилий: с глазами, опущенными книзу, словно бы для того, чтобы лишние зрительные впечатления не мешали ему сосредоточить внимание на какой-нибудь фокусной точке, он несколько нудно нанизывал одну фразу на другую, слегка заикаясь и не всегда быстро отыскивая нужное ему слово для выражения соответствующего оттенка своей тяжеловесной мысли. Но по содержанию его речь всегда казалась значительной и дельной.

Полную противоположность составлял Г. М. Кржижановский. На его красивом лице с огромным открытым лбом и с тёмнокарими, несколько выпуклыми глазами можно было иной раз на протяжении короткого промежутка времени проследить полную хроматическую гамму настроений — от самых минорных до ультрамажорных и обратно.

Вот, например, вы его видите пребывающим, по его собственным словам, в состоянии «полного маразма». Он лежит в бездеятельном состоянии на своём ложе. Взор у него тусклый, скучающий, углы губ капризно опущены книзу.

Между тем по соседству возникает какая-нибудь интересная дискуссия. Цедербаум со Старковым бомбардируют друг друга ссылками на «Капитал» и на «Анти-Дюринга». У Кржижановского чуть-чуть временами вспыхивает огонёк в глазах, и каждая такая вспышка знаменует появление на поверхности его сознания какой-нибудь счастливой мысли, которая время от времени срысывается с кончика его языка. Цедербаум не пропускает случая остроумно подхватить на зубок все дефекты этой случайной залётной мысли, порождённой ленивым пово-

ртом ума обессиленного и спелёнутого Гулливера. Но насмешливые нотки и раздражающе-цепкие аргументы Цедербаума начинают понемногу делать своё дело: Кржижановский приподымается с постели, его чёрные густые брови приходят в состояние беспокойного шевеления, и глаза его начинают уже метать молнии.

Через четверть часа несколько нервная, но ровная, тягучая, немного спотыкающаяся речь Цедербаума и суховатые, но гладкие в стилистическом отношении монологи Старкова и волнующийся голос Ванеева — всё это приобретает характер простого фона, на котором ярко выделяются огневые узоры мысли героя минуты — Кржижановского. Получается такое впечатление, как будто поражённый параличем Илья Муромец вдруг хватил чару зелена вина и обрёл в ней свои прежние богатырские силы. Это уже не мокрая курица, смиренно валяющаяся во прахе, а орёл, расправивший свои могучие крылья. Орлиные брови, орлиные разгоревшиеся глаза, великолепные обороты диалектически работающей мысли, громовой голос, патетическая речь... Через полчаса, однако, «орёл» начинает обнаруживать признаки вялости. Попрежнему, как мелкая дробь в крышу от капель затяжного осеннего дождя, как всепобеждающая упорная стихия потрескивает скрипучий голосок Цедербаума, и обнаруживается более широкий простор для выявления мысли остальных собеседников, а великолепный Кржижановский всё меньше и меньше швыряется взрывчатыми бомбами своей неожиданной аргументации и всё больше и больше начинает прибегать, как к спасительному средству отступления, к добродушной шутке. Наконец, снова поверженный в состояние протрации, он лениво реагирует на выпады противников каким-то мычанием и нечленораздельными звуками, а торжествующие оппоненты добивают своего лежачего противника (в буквальном смысле слова лежачего, ибо Кржижановский снова уже прикован к постели, как Прометей к скале) и, удовлетворённые исходом боя, расходятся по своим углам.

Василий Васильевич Старков никогда не возвышался до такого пафоса, до такого взлёта мысли в поднебесье, как Кржижановский. В то же время он не обладал и такой эрудицией, как Цедербаум. Но зато его методический ум находил довольно стройные логические схемы, в которые он очень экономно укладывал имеющийся у

него в запасе умственный багаж, и удачно подсказывал ему, где находится самое уязвимое, самое слабое место в аргументации противника. Речь его была небогата образами и красочными эффектами, но отличалась плавностью и правильностью построения. Его умные маленькие глаза на скуластом — более оригинальном, чем благообразном — лице светились иронией по поводу всякого рода романтического устремления чьего-нибудь духа от скучных тонов серой земли в заоблачную высь голубого неба.

Впрочем, одна область эстетических наслаждений была и ему вполне доступна и очень даже по сердцу — это именно вокальное искусство. Он был до некоторой степени знатоком пения и являлся у нас в Бутырской и Красноярской тюрьмах бесспорным обладателем дирижёрской палочки. Под его компетентным руководством, следуя за его маленьким, но приятным баритоном, мы разучивали на многоголосый лад революционные мотивы, завезённые к нам товарищами из Польши. При этом он обнаруживал неистощимое, упорное терпение, обрабатывая нескладные голоса некоторых из нас. Он даже не отказывался от исключительно неблагоприятной задачи привести к гармоническому единству весьма усердный и готовый на какие угодно жертвы, — но увы! — более неуклюжий, чем гиппопотам на суше, менее гибкий и эластичный, чем сапоги красноармейца, ревущий, как судовая сирена, и вечно опережающий или отстающий в общем хоре рокочущий бас, вырывавшийся на волю из отверстой пасти пишущего эти строки.

Анатолий Александрович Ванеев, с тонкими, нежными чертами бледного лица, на котором болезнь, сведшая его через два года в могилу, наложила уже свою мертвенную роковую печать, со своими кроткими, глубоко лежащими в глазных впадинах, василькового цвета очами и с улыбкой ясной и доброй, казался воплощением доброты и нравственной чистоты. Впрочем, время от времени это лицо молниеносно искажалось судорогой гнева, когда его морально строгая и требовательная в этом отношении природа наталкивалась на какой-нибудь факт, плохо гармонизировавший с его нравственными привычками. Он не был так вооружён логикой и знаниями, как другие его товарищи по кружку, но он чрезвычайно близко принимал к сердцу все умственные и политические интересы,

под знаком которых этот кружок сложился, готовый отстаивать эти интересы, «волнуясь и спеша», до последних сил.

Запорожец для меня остался неразгаданной загадкой. Я его видел уже в период постепенного угасания его живой мысли. Психическая болезнь, надвинувшаяся на его «я» как тяжёлый, непроницаемый туман, сковала его дух. Это на редкость красивое, мужественное, суровое лицо было ещё вполне человеческим, ум несчастного юноши ещё, видимо, боролся с застилавшей его тьмою, редко размыкавшиеся молчаливые уста не произносили бессмысленных слов и фраз, он ещё казался как будто нормальным человеком, но это его постоянное молчание, его мания подозрения, заставлявшая его во всех окружающих предполагать шпионов, его нелюдимость, его постоянно грустное, загадочное выражение глаз — всё это говорило о том, что бедный Запорожец уже «духовно навеки почил»...

А теперь на закуску ещё один мазок, необходимый для того, чтобы нарисованная картинка из серии набросанных здесь портретов не показалась слишком бледной вследствие отсутствия игры светотеней.

П. А. Оленин, если память мне не изменяет, был народовольцем, но, как это нередко случалось в то время, вошёл в соглашение с московской с.-д. организацией и обслуживал её интересы, работая, если не ошибаюсь, на mimeографе. С.-д. организация не очень-то осталась в конце концов довольна своим союзником, который, получив в своё распоряжение от неё полиграфические ресурсы, более был занят использованием этих ресурсов для своих сепаратных целей, чем в интересах своих заказчиков, с.-д., и на этой почве между «союзниками» произошло охлаждение и даже прямое расхождение.

Представьте себе необычайно юркого человечка с бегаящими, как у обезьянки, глазами, с серовато-неопределённого цвета физиономией, вечно меняющей выражение, причём игра мускулов на этом лице более была заметна, что оно было довольно слабо наделено растительностью в тех местах, где у взрослого человека предполагается быть усам и бороде, так что никак не поймёшь, да сколько же обладателю этого лица лет — 20, 30, а может быть и все 40,— такова была наружность П. А. Оленина.

Он любил быть центром внимания и старался производить впечатление простого, доброго, малого, что называется парня-рубахи. Чтобы окружающим его приятелям не было скучно, он готов был без умолку болтать всякий вздор или подражать ухваткам грациозных представителей фауны старого и нового света: подкрадываться к жертве, извиваясь, как бенгальский тигр, готовиться к прыжку, как африканский лев, почёсываться с потешною ужимкою павиана и т. д. и т. д. В случае надобности он мог мгновенно взять другой тон и заговорить языком достаточно культурного человека о Михайловском, о Спенсере, о Спинозе, о Демокрите, о героях и толпе, о дарвинизме, о Бабефе, о Гарибальди — словом, о ком угодно и о чём угодно, доказывая этим самым, что и он не лыком шит.

Он и в самом деле казался как будто вполне уживчивым и хорошим товарищем, а между тем это именно он был одним из главных виновников борьбы против покойного Федосеева. Смелый, ловкий, сметливый, он мог много любопытного порассказать из эпопеи своих революционных походов, а между тем подлинного революционного духа, не говоря уже о революционном энтузиазме, в этой эпопее как-то не чувствовалось. Одним словом, он производил впечатление типичнейшего представителя той революционной богемы, которая оторвалась от прошлого, не пристала к грядущему, блуждала в пространстве, как метеорная пыль, пробавлялась теоретическими крохами со стола своих более самоопределившихся в классовом отношении соседей, готова была играть роль «попутчика» у других революционных групп (в описываемый момент обслуживая главным образом интересы молодой, бодрой социал-демократии), падка была на авантюры и впоследствии влилась в ряды эсеров.

Но пора, наконец, расстаться с моими товарищами и попутчиками по пересыльным тюрьмам, потому что меня ждёт уже готовая к отправке партия этапников, направляемых в Енисейскую тюрьму.

9 дней продолжалось моё шагание до места назначения (свою подводу, которая мне полагалась, как политическому, я, конечно, уступил для больных и женщин из нашей партии). Шло нас человек 50, весело маршируя по Енисейскому тракту. Правда, мои товарищи по путешествию принадлежали к другому миру людей: всё это

были уголовные, причём многие из них далеко не из кротких и не из случайных жертв российского правосудия. Специфически каторжная, красочная ругань всё время висела в воздухе. Но тёплое весеннее солнце, чистый воздух сибирских полей, голубое небо над головой, смолистый запах еловых лесов и ожидание скорой свободы подымали моё настроение чуть ли не до степени телячьего восторга.

Мои созапники несколько косо посматривали на меня — с оттенком пренебрежения, как на птицу чуждой для них породы. Их шокировало даже то обстоятельство, что я не украшал свою «интеллигентскую» речь «упоминанием родителей», и по моему адресу иногда раздавались иронические замечания ввиду какого-нибудь сочного трёхэтажного словца, смачно выкроенного чьим-нибудь языком:

— Ну, ну, брат, ты не очень-то этак выражайся... Аль не видишь, что с нами барин идёт... Их уши, братец мой, к этому, можно сказать, не привыкли...

Но моя кротость и спокойствие в конце концов взяли верх над чувством их недоброжелательства, так что, когда наступал момент абонирования мест путешественниками в этапной избе при ночёвке, мне благосклонно уступали местечко на нарах, избавляя от необходимости искать себе приют где-нибудь под нарами.

Я сказал «в момент абонирования мест», но это отзывается как-то слишком уж мирной идиллией и поэтому является неудачным выражением. Обыкновенно картина была такова. Сделавши утомительный переход вёрст в 25—30, партия подходит, наконец, к месту остановки на ночь и оживляется. Перед этапной избой конвойные считают арестантов, после чего все стремглав бросаются к дверям этапной избы с криком, гвалтом, невозможной бранью, толкая и давя друг друга, лишь бы не опоздать к разбору более сносных мест для ночлега. Да и было из-за чего воевать! Изба в две-три каморки должна была принять под свою крышу с полсотни человеческих тел с их жалким скарбом. Небольшая лишь часть, человек в 20, в том числе, разумеется, в первую голову конвойные, могла поместиться на нарах, а остальные размещались на грязном полу, не оставляя свободным ни одного квадратного фута на нём. Мало этого, многие даже не находили себе приюта на полу и жа-

лобно вымаливали у счастливых немножечко потесниться, чтобы у них оказалась возможность по крайней мере посидеть хотя бы и в скрюченном положении.

На ночь дверь избы запирается на замок (неотъемлемая принадлежность русских тюрем — «парашка» делает излишними ночные выходы из помещения), и вот через несколько уже минут после этого атмосфера в избе становится невыносимой. Хорошо, если какое-нибудь стекло в окошке бывает разбито и заткнуто грязной тряпкой, всё-таки время от времени, несмотря на протесты любителей тепла, можно впускать струю свежего воздуха. Но если стёкла все целы и изба хорошо законопачена, тогда беда... дышать было положительно нечем.

А тут ещё дают себя знать клопы (о мириадах паразитов другого рода, живущих в белье арестантов, я уж и не говорю). Эти изголодавшиеся в ожидании очередных жертв отвратительные насекомые жадно набрасываются на пришельцев и запускают свои челюсти в их ко всему притерпевшееся тело.

До поздних петухов шум в избе не прекращается. На нарах идёт азартная картёжная игра, в которой принимают участие не только аристократы из числа серохалатников — наглые, претенциозные, импонирующие своей силою и готовностью пойти на всё, вплоть до смертельного удара сапожным ножом под девятое ребро своему противнику, но и сами конвойные, которые по своей психологии и этическим навыкам мало отличаются от арестантской массы и любят водить дружбу со «сливками» этого общества. «Сливки» же, пользуясь протекцией конвойных, получают от этих последних всяческие поблажки и привилегии. Разбивают свои кандалы, лишь только выйдут из поля зрения тюремного начальства, и снова навешивают их себе на ноги и руки лишь тогда, когда наступает время сдачи их новому тюремному начальству (в Енисейске); протезируемые солдатским штыком, они пользуются беспорным правом на лучшие места при ночёвках в этапных избах. У этой тёплой компании всегда водится водка. Многие из них получают даже позволение по приходе в село отлучиться из этапа, чтобы часок-другой пошляться по селу, причём этому разрешению всегда предшествует торг в таком, например, роде:

— Отпусти, милый человек... До девчёнок очень уж большая охота добратся... Да и водочкой раздобудусь,

шаньгами обзапасусь... Сам же ещё потом спасибо скажешь...

— А не наостришь лыжи, такой-сякой сын!..

В ответ на этот вопрос арестант пренебрежительно отплёвывается.

— Уж я и не знаю, друг любезный, за какого дурака-адиота ты меня принимаешь,— кидает он ироническую реплику.— Нешто мне есть расчёт таперича искать воли!.. Сначала, поди, надо притти на место... да пощупать купеческую мощну... А тогда уж и айда в тайгу...

— То-то, чорт, смотри, не подведи.

— Будь без сумления, Павел Иванович... Не подведи!

И т. д. и т. д.

Иногда мой тревожный сон нарушался адским шумом.

— Не подходи!.. Убью...

Подвыпивший и приведённый под конвоем арестант, успевший крупно наскандалить на деревне, продолжает «куражиться», стоя в дверях этапной избы и сверкая ножом. Это самый законченный каторжный экземпляр. Он очень гордился своим богатым уголовным прошлым. При взгляде на его широкую красную рожу и необычайно наглые, немигающие серые глаза я всегда представлял себе, как у меня было бы сердце не на месте, если бы мне пришлось встретиться с таким субъектом с глазу на глаз. Но не только я, глядя на него, испытывал жуткое чувство, а и все арестанты боялись его, как лютого зверя. Даже конвойные старались жить с ним в мире. И на это «не подходи, убью» унтер предпочитал реагировать не пулей или штыком (такого рода история была бы ему не на руку), а дипломатическими переговорами. В результате этих переговоров на нарах появлялась нераскупоренная ещё посудина со смирновской, и приятели снова закрепляли свою дружбу, опорожняя бутылку до дна.

Наконец, пройдя вёрст 200 с лишним от Красноярска, наш этап вступает в с. Казачье... Какое блаженство, какое счастье... Здесь я буду ночевать не в этапной избе, а в постели, по-человечески. Меня охватывает нетерпение, и я тороплю конвойных сдать меня поскорее местному начальству.

И вот я на свободе.

В Казачьем в это время из политических была одна только Наталья Александровна Григорьева, петербургская работница, народоволка, уже не молодая и прошед-

шая революционную школу. Я был, признаться сказать, рад этому относительному безлюдью... Впечатления от пересыльных тюрем были ещё так свежи, что мои нервы требовали отдыха от пережитой за последние два месяца тюремной суетошки и от своей братии — политических.

Был апрель. Я вышел на берег Енисея. Огромная, шириною не менее чем в две версты, река, с тонкой дымчатой полоской леса на противоположном берегу, представляла великолепную картину весеннего ледохода. Зеленоватые льдины нагоняют друг друга, громоздятся друг на друга и образуют на одну минуту ледяные груды, которые тут же с треском крошатся и распадаются, обнажая тёмнофиолетовую поверхность реки и давая простор новым пришельцам, которые без усталости мчатся на далёкий север, как бы торопясь на свидание с ледяными великанами сурового океана.

Какая тишина вокруг, какой «врачующий простор»! Душу охватывает чувство безмятежности и покоя. Где-то там, далеко-далеко, на берегу другой реки и над гладью серовато-стального моря реют бледные призраки волнующих белых ночей... Там тяжело дышит измученной грудью большой шумный город. Там из всех полуподвалов и промозглых фабричных казарм широкими, безумными глазами смотрят нищета и отчаяние. Там во взорах тех, кто устал бесконечно молчать и терпеть, загораются новые, раньше неведомые тупой и покорной толпе, какие-то загадочные огоньки... Там «гремят витии» — и в Марийском дворце, и в студенческой столовой, и в залах Вольно-экономического общества, и где-нибудь около пустынных свалочных мест за Волковым кладбищем...

А здесь — на берегу сибирского водного великана так тихо-тихо, что можно слышать свои собственные думы, свои певучие настроения или величавые мысли о властных стихиях жизни и смерти, о том, что в рамках вечности и бесконечности всё движется, всё течёт... Чу! над головой высоко в небе с криком пролетает стая журавлей... От заалевшего вечернего неба на окружающий пейзаж ложатся тёплые блики. Доносится издали лай собак.

И кажется, сидел бы так весь век на берегу этой необъятной сибирской реки и смотрел бы жадными глазами на её убегающую ширь, убаюкивая себя той мыслью, что ты скрылся здесь от пашей, от их всевидящего глаза и от их всеслышащих ушей...

Скоро Н. А. Григорьева, изголодавшаяся по людям из того далёкого мира кипучей жизни и борьбы, который казался ей тем более чудесным, чем дальше уходили в прошлое златые дни её собственного революционного крещения, и трепетавшая от радости при мысли о том, что ей удастся снова видеть вокруг себя этот мир хотя бы и в условиях казачинской жизни, имела целый ряд поводов предаваться ликованию. Прибыли с этапами на пароходе два екатеринославских рабочих с семьями — Том и Белкин, примыкавшие к социал-демократам, хотя и не совсем ещё сознательные марксисты; приехал по проходному свидетельству польский народовец студент Дуткевич; появилась на моём горизонте навещавшая меня в тюрьме Ольга Борисовна Протопопова, чтобы с этого момента стать постоянным спутником моей тревожной жизни. А ещё немного позже наше Казачье стало чуть ли не центром жизни политической ссылки в Енисейской губернии. Наша семья увеличилась с прибытием социал-демократа Фридриха Вильгельмовича Ленгника, арестованного в 1896 г. по делу Петербургского союза и получившего 3 года ссылки, Е. П. Ростковского, народовольца, и социал-демократки Аполлинии Александровны Якубовой (из группы Н. К. Крупской, З. П. Невзоровой и других наследников кружка В. И. Ульянова после провала в декабре 1895 г.). Затем из Бельской волости к нам перевёлся Виктор Севастьянович Арефьев (народник из Саратовской губернии) и, наконец, виленский портной Пинчук, юноша лет 19—20, попавший в ссылку из-за забастовки в их мастерской, но малограмотный и политически ещё не самоопределившийся.

Несмотря на такое скопление политических ссыльных, Казачье приобрело чуть ли не во всей Сибири славу на редкость тихого и мирного уголка. И действительно, у нас не было так называемых ссыльных историй, что, вероятно, объясняется не столько счастливым подбором подходящих друг к другу индивидуальностей, сколько инстинктивным страхом колонии перед призраком всеразъедающей склоки и раздоров. Благодаря этому все политические в Казачьем очень долгое время избегали подымать вопрос об организации коммунального хозяйства, жили каждый в одиночку, сходились вместе изредка, а когда компания собиралась, то все более или менее старались избегать фракционных разговоров о «наших разногласиях».

Я сказал, что мы избегали принципиальных разговоров на темы о революционных целях и методах борьбы, но совершенно обойтись без дискуссий мы не могли, и несколько раз два лагеря стояли один против другого: с одной стороны — Ленгник, Якубова, я с женой и отчасти Том и Белкин, поскольку предмет спора был им интересен и понятен, а с другой стороны — наши народники, иногда подкреплённые резервами извне вроде, например, Алексея Алексеевича Макаренко, десять лет уже маячившего в сибирской ссылке и очень плохо представлявшего себе новые веяния и новые течения в революционных сферах. Кстати сказать, этот милейший и добрейший ветеран революции почему-то до такой степени казался опасным предрежающим властям, что, отбыв одиннадцатилетний срок своей ссылки, он был оставлен ещё на три года в том же положении.

Более всех во время наших споров горячилась весьма темпераментная народоволка Н. А. Григорьева, готовая, в конце концов, реагировать на обстрел социал-демократами теоретических позиций народничества чувством горькой обиды и раздражения. Но благодаря сдержанности социал-демократов, благодущию Ростковского и всё-сёлому нейтралитету Арефьева, который на всё окружающее смотрел более глазами журналиста, чем политика, стараясь уловить свеженькие мотивы для очередного фельетона, дело кончалось мирно. А. А. Макаренко запевал своим могучим сочным тенором «Славное море, священный Байкал», остальные дружно подхватывали, и стройные звуки недурного хора неслись через открытое окошко по деревне. Одна песня сменялась другой, и когда затихал в качестве запевалы Макаренко, его сменял Ленгник, обладавший тоже большим голосом. Страсти быстро улегались, холодок враждебности между представителями двух лагерей уступал своё место тёплой волне дружественных эмоций, и члены колонии, в конце концов, расходились по своим углам успокоенные и умиротворённые.

Если же время было не позднее, то любители игры в рюхи принимались за своё любимое занятие. Гудела, как аэроплан, палка, пущенная мощной рукой Ленгника, но обычно пролетала благополучно над рюхами, не задевая их. По-детски, с наскока, брошенная Арефьевым тоненькая и маленькая жердинка всегда почти попадала

в городок и помаленьку обращала лежащих «свиней» в стоячих «попов». Энергично отстаивала свои права на лишний удар, сверх абонеента, задорная спортсменка Ольга Борисовна. Запускал дубиной, по обыкновению, в чьи-нибудь соседние ворота автор этих строк, всегда при этом конфузливо поясняя, что у него на этот раз, чорт возьми, сорвалось... Смех, оживление, раскрасневшиеся лица, споры из-за оценки сомнительного состояния какой-нибудь рюхи — всё это так хорошо, так успокоительно действовало на нервы, что право же не нужно было тёплых ванн и бромистых препаратов.

Наиболее жизнерадостным членом колонии был Арефьев, с появлением которого наша казачинская ссыльная публика сразу же оживилась.

Сын землероба-крестьянина Саратовской губернии, он являлся естественным и типичным представителем малоразвитой политически и недифференцированной в то время в классовом отношении демократической мелко-буржуазной массы. Самоучка по образованию, он, по примеру Горького, потянулся к журнальной работе и очень быстро усвоил себе сноровку газетных репортёров и фельетонистов отзываться «лёгким» пером на злобы дня. Весёлый, никогда не унывающий, с молодой, неисчерпанной ещё энергией (ему тогда было, кажется, года 22—23), он влетел в нашу слишком уж замкнутую и угрюмую среду, как звуки весёлой песни в молчаливое подземелье. Все оттенки революционной мысли были для него равноценны, так что он сразу же стал в дружественные отношения и к социал-демократам, и к народо-вольцам, и к деревенской молодёжи на селе, на вечеринках которой он всегда был желанным гостем. Как только он появился на нашем горизонте, так первым долгом справился:

— В каких газетах и журналах сотрудничаете? Что пишете? Где печтаетесь?..

Когда мы (по крайней мере, Ленгник и я) ответили на это, что к буржуазной прессе относимся несколько безразлично, а своих органов нет, поэтому-де нигде не сотрудничаем и нигде не печатаемся, он зашумел, загорячился и стал по-своему высмеивать этот «сектантский» предрассудок. Другим мотивом нашего отрицательного отношения к перспективам литературного труда являлась для нас бедность по части материалов для такого рода

работы: нет книг, нет журналов, нет в окружающей обстановке общественноинтересных фактов общественной жизни. И вот он сейчас же доказывает нам на деле всю несостоятельность этого аргумента. Кое-кто из политических (кажется, Ванеев в Енисейске) получил дружеское послание с описанием условий жизни в Туруханске. Арефьев не упускает случая утилизировать это письмо, и в течение 10—15 минут готова уже по адресу томской газеты «Сибирская жизнь» корреспонденция из Туруханска. А. А. Якубова получила письмо из Парижа, и на страницах той же «Сибирской жизни» появляется хроникёрская заметка из Парижа. Таким образом, «наш собственный корреспондент» свободно мог обозревать из своей ссыльной дыры «целый мир».

Сначала мы подсмеивались над этими тайнами журнальной эквилибристики, но мало-помалу сила нашей упорствующей инерции ослабела, и мы (т. е. главным образом я и Ленгник) позволили увлечь себя «на оный путь, журнальный путь». Наш искушитель и виновник нашего грехопадения быстро создал очень подходящую обстановку для нашей работы, выписал колонии все толстые журналы того времени: «Русское богатство», «Мир божий», «Новое слово», «Русскую мысль», «Начало» и несколько позже — филипповское «Научное обозрение»; связал нас с издателем газеты Макушиным, рекомендуя нас, как ценных сотрудников для «Сибирской жизни»; выторговал для нас почётные литературные ампулы. Одним словом, «вбухал» в это самое дело...

И вот очень скоро «Сибирская жизнь» стала, можно сказать, органом казачинских литераторов. Ленгник облюбовал область социальных условий труда сибирских рабочих (на приисках), я стал зажаривать периодические обозрения журнальной публицистики, покрывая эзоповской фразеологией «дерзость» своей марксистской мысли, а Арефьев, с лёгкостью пера привычного газетного работника, прыгал по садам современной российской беллетристики.

Очень провоцировал нас Арефьев на завоевание более обширной арены для наших литературных подвигов — такого, например, материка, как «Русское богатство», куда сам Арефьев был вхож. Но мы отклонили от себя эту честь, считая ниже своего достоинства опуститься до народнического «Русского богатства». Зато на своём

островке, т. е. в «Сибирской жизни», мы чувствовали себя почти что хозяевами газеты. Удивительное зрелище представляла в то время эта покладистая газетка: наряду с фельетонным кувырканьем какого-нибудь томского подражателя такому мастеру этого литературного жанра, как, например, Дорошевич, шли честные и искренние пробы марксистского пера, мирно уживавшиеся бок о бок с зигзагами либерально-народнической мысли. Такова была тогда вообще простота литературных нравов. Вспомним, например, что даже в большой прессе допускалось очень прихотливое смешение красок: рядом с Вл. Ильиным, возносившим марксистскую мысль на революционные высоты, печатался попахивавший елеем Булгаков; в числе сотрудников так называемого «марксистского» журнала можно было видеть рядышком и Г. В. Плеханова (под тем или иным псевдонимом) и Мережковского... Так уж где тут было требовать особенной литературной разборчивости от мелкотравчатой газетной братии!..

И всё-таки большое спасибо Арефьеву! Благодаря ему наша ссыльная жизнь в Казачьем стала осмысленнее, содержательнее, приятнее и более обеспеченной. Мы имели в своём распоряжении газеты и журналы, которые жадно нами прочитывались. На фоне серенькой, однотонной ссыльной жизни приятно было что-то такое «творить», заниматься какой-то литературной стряпнёй хотя бы и для «Сибирской жизни», а также с нетерпением поджидать почты два раза в неделю, предвкушая удовольствие встретить на страницах нашего «лейб-органа» какое-нибудь очередное своё произведение. Наконец, газетная работишка значительно повышала наше финансовое благополучие, что было весьма кстати, так как 8-рублёвого казённого пособия в месяц на жизнь не хватало.

Было, наконец, и ещё одно обстоятельство, которое заставляло нас дорожить нашей «вхожестью» в 7-ю державу света: в известной мере мы могли располагать общественным мнением сибирского «общества» как подсобной для нас стихией в нашей борьбе с теми враждебными силами, которые составляют проклятие для всех мест политической ссылки.

Известно, что жертвам политического заточения приходилось постоянно воевать с своими тюремщиками или в ссылке со всякого рода заседателями, исправниками и т. д.

И у нас, в Казачьем, был свой супостат — местный полицейский чиновник, так называемый заседатель, под наблюдением которого мы все состояли. Почему-то этот очень наивный человек, а вернее сказать — его почтенная супруга или оба они вместе вообразили, что политические сочтут для себя за честь хаживать к ним запросто, как человеки к человекам, чтобы похлебать чайку, немножко посплетничать, поиграть в винтишко, словом, будут вести с ними компанию. Но политические ссыльные обманули ожидания этой прелестной четы. Магомет не пошёл к горе, и гора прониклась величайшей ненавистью к Магомету.

Производивший впечатление дурашливого простачка со своими глупыми бараньими глазами и ртом до ушей наш заседатель оказался достаточно хитрой политической крысой, чтобы насолить всеми доступными ему способами той породе людей, которая оказалась неприемлющей ни его самого, ни его неприятной во всех отношениях Ксантиппы, ни их гостеприимства, ни их любезностей. На наши головы посыпались всевозможные кары, стеснения, запреты, обыски и доносы по начальству. Вышел ли кто-нибудь из нас за пределы села — преступление налицо. На первый раз выговор и предупреждение, что в случае повторения вины последует перевод в места более отдалённые, а потом и более серьёзные последствия. Пришли ли к нам деревенские ребята попеть, посмеяться, побеседовать — сейчас же донос: ссыльные, мол, политически развращают местную крестьянскую молодёжь.

Я помню, как после одной из устроенных Арефьевым в моей квартире «вечёрок» с танцами и пением к исправнику полетела бумага: караул, политические без зазрения совести ведут свою вредную пропаганду среди населения... И вот, в результате доноса Арефьев, я и ещё кто-то предназначаю к ссылке — кто на Ангару, в её таёжные пустыни, а кто и ещё подальше. К счастью, моя жена со свойственной ей настойчивостью и энергией успела вызволить нас из беды: съездила в Енисейск, сослалась на свидетельство енисейского доктора Станкевича, который в инкриминируемый нам вечер был у нас в гостях, играл со мной в шахматы и мог засвидетельствовать вздорность обвинения. Нас на этот раз оставили в покое, хотя борьба с заседателем приняла ещё более острый характер.

Такого рода особенностями политической ссылки объясняется то нередкое явление, которое на первый взгляд кажется не совсем понятным: сослан был человек на 4 года, а высидел 10—12 лет (так, например, случилось с упомянутым выше А. А. Макаренко). Перед ссылкой очень часто стоит альтернатива: либо приспособиться к требованиям местной полицейской власти, либо удлинить срок своего отчуждения от мира живых и ухудшить условия своей жизни. Если местный цербер вздорный человек, то почти неминуемо бывает «столкновение двух миров», сопровождающееся иной раз трагическим финалом по крайней мере для представителей той стороны, которая не располагает иными средствами борьбы, как только гордое презрение к скорпионам и бичам своих мучителей.

Вот почему наш союз с макушинской газетой был очень нам на руку. Как ни велика была ненависть казачинского Держиморды к политическим, но боязнь газетных разоблачений у него была ещё больше. И это обстоятельство сильно повышало наши шансы на победу. Я даже думаю, что литературное оружие чрезвычайно увеличивало наш удельный вес не только в глазах уездного исправника, но и самого губернатора.

Что же касается заседателя, то его карта была бита. Корреспонденции «Из с. Казачинского» лишали его сна и аппетита. Особенно роковой для него оказалась корреспонденция о собольих шкурках и напечатанная в «Сибирской жизни» басня, начало которой я и до сих пор помню:

В лесах сибирских вековых
Жил волк с большущей пастью,
Который одарён был властью,
Ну, скажем, вроде наших станowych...
(Известных с давних пор под кличкой «куроцапы»).
Но если «куроцапа» лапы
Привыкли к дани в форме кур,
То наш таёжный самодур
Слыл за любителя собольих шкур...

Кончалась басня моралью, смысл которой был тот, что можно любить собольи шкуры, но следует помнить о судьбе и своей собственной шкуры.

Наш заседатель не вынес той лошадиной дозы обличительной литературы, которую мы закатили, и погиб или, лучше сказать, сошёл со сцены, навсегда испортив свою служебную карьеру.

Но прежде, чем это случилось, моя жена, служившая фельдшерницей, будучи целиком подчинена по должности казачинскому самодержцу, более, чем кто-либо из нас, обстреливаемая из заседательских позиций, приняла твёрдое решение перевестись в другое место Енисейской губернии и меня перетащить вслед за собой. И вот ей удаётся, наконец, исхлопотать себе перевод в с. Курагинское. Месяца через два и я получил перевод туда же.

Была середина октября. Я сел на пароход «Модест», совершавший свой последний рейс по реке, уже покрывшейся ледяным «салом». Изнервничавшийся за время долгого ожидания перевода, отчаявшись в возможности использовать такой наиболее дешёвый и удобный способ передвижения (в случае запоздалого разрешения на перевод), как поездка на пароходе, я был бесконечно счастлив, очутившись, наконец, на «Модесте», и оглядывал с палубы парохода то длинное, большое село, в котором я высидел 1½ года. Но новая беда уже стояла за моей спиной. Проехав вёрст 25, мы попали в полосу так называемых казачинских порогов. Это страшный пункт, и только опытность капитана парохода, изучившего узкий проход между тянущимися на протяжении 3 вёрст двумя грядами подводных камней, может обещать благополучное проследование судна через эти казачинские сциллы и харибды.

На наше несчастье случилось так, что рулевая цепь в самой гуще подводных камней лопнула. Наш пароход закружило и завертело, как щепку. Завыл дико и протяжно тревожный гудок. Все высыпали на вышку. Через минуту беспомощное судёнышко напоролось на острый подводный камень и пригвоздилось к нему. Корма, как ножом отрезанная, умчалась вниз по течению. Корпус судна стал опрокидываться.

Помню ту невообразимую панику, которая охватила пассажиров. Вот женщина в состоянии безумия норовит бросить своего грудного младенца за борт. Я выхватываю у неё из рук ребёнка. Какой-то купчина с толстым брюхом бросается на колени и, простирая руки к небу, так неистово вопит, с таким жалобным воем требует себе помощи от Николая угодника, от пресвятой девы Марии и прочих святых, что заглушает этим воем все остальные голоса и рёв бурунов.

Из каюты I класса на четвереньках ползёт поражённый страхом толстый жандармский полковник и жалобно

молит: «Помогите, пожалуйста, дайте кто-нибудь мне руку». Но никто не обращает на него внимания.

К счастью, скоро к тонущему пароходу подъехали на лёгоньких челноках местные крестьяне (как они справились с бурунами, это осталось для меня навсегда загадкой) и перевезли нас всех на берег. Помнится, когда прошли первые минуты радостного сознания, что мы вырвались из когтей смерти, кто-то предложил отблагодарить наших спасителей крестьян и пустил по рукам в пользу них подписной лист. Этот лист был прежде всего предложен самому именитому пассажиру — жандармскому полковнику. Его высокородие полностью изволил начертать свой жандармский титул, вывел свою фамилию с росчерком, о чём-то немного подумал, пожевал губами и, наконец, изобразил цифру своего даяния: 1 рубль...

Меня охватило юмористическое настроение: я схватил лист, и сейчас же вслед за факсимиле начальника губернского управления из-под моего пера бойко выглянуло:

«Политический административно-ссылный такой-то — 2 рубля».

Нужно было видеть при этом сконфуженную физиономию полковника. Он стал лепетать, что им-де руководил не мотив излишней бережливости, а желание вознаградить индивидуально тех лиц, кои лично оказали ему услугу, и на долю которых он готов дать хотя и 10 рублей...

— Не смущайтесь, полковник,— сказал я с великолепным жестом.— И лепта библийской вдовицы тоже была ценна не столько своими размерами, сколько добрыми намерениями этой почтенной старушки...

Итак, я благополучно вылез, можно сказать, сухим из воды. Но моя библиотека — мой ящик с книгами канул в воду. А ещё более было мне жаль моей погибшей рукописи, моего литературного детища, продукта моих досугов в тюрьме и ссылке. Эта рукопись заключала в себе очерки в полубеллетристической форме из жизни железнодорожного служащего пролетариата. Я мечтал их окончательно обработать и пустить в свет. Но увы! эти мечты пошли прахом. Приходилось утешать себя только тем, что сам-то я, по крайней мере, остался цел и невредим.



ПО СОСЕДСТВУ С ВЛАДИМИРОМ ИЛЬИЧЁМ

(1899 г.)

Село Курагинское (или Курагино) на р. Тубе, притоке Енисея, было поменьше с. Казачинского и производило впечатление тихого, мужицкого, хлебо-родного уголка. Да и из ссыльной братии до нашего приезда там коротал время один только Виктор Константинович Курнатовский.

Не воодушевляемый больше примером неугомонного Арефьева, лишённый прежнего изобилия журнальной литературы, я отстал от газетной работы и не знал, что с собой делать. Правда, у меня появились новые заботы: жена произвела на свет маленькую нашу дочурку, которую мне, в часы служебных занятий жены, приходилось убаюкивать, носить на руках, пичкать из соски молоком, одним словом нянчить по всем правилам этого нового для меня искусства. Но как ни интересно было наблюдение за развитием личности маленького эмбриона, особенно богатой пищи для ума это наблюдение не давало, и я всё более и более чувствовал духовный голод.

С Виктором Константиновичем у нас были вполне приятельские отношения. Но вследствие его физического недостатка (он плохо слышал) редко приходилось видеть его в состоянии весёлой общительности. По большей части он угрюмо замыкался в 4 стенах своей комнаты или же бродил по окрестным полям и болотам с ружьишком за плечами. Охотник он был, действительно, страстный,

и если бы не охотничье ружьё, его долгие многострадальные годы ссылки в Сибири были бы сплошной Голгофой.

Я помню один потешный эпизод, характеризующий его увлечение во время охоты. Как-то мы отправились с ним под вечер вдвоём на прогулку: он с ружьём, а я с дубинкой в руках. Он очень плохо прислушивался к моей болтовне, и его разгоревшиеся глаза всё время бегали по кустарникам в ожидании какой-нибудь интересной птицы. Случилось так, что вдруг из-за пригорка выглянула полная красная луна. Напряжённые нервы страстного охотника ответили мгновенным рефлексом на это неожиданное появление почтенного спутника земли: была доля секунды, когда руки Курнатовского судорожно схватились за ружьё для прицела.

Я уловил этот невольный жест и не преминул, конечно, пошутить над курагинским следопытом. И не было впоследствии большего оскорбления для его охотничьего самолюбия, как напоминание о том, что он однажды собирався луну подстрелить дробью мелкого калибра.

Несколько позже, когда мы все получили перевод в с. Ермаковское, откуда виднелись белые зубцы Саянских гор, Виктор Константинович выторговал себе у минусинского исправника разрешение на 2-недельную отлучку и отправился с какой-то компанией в экспедицию вёрст за двести в глубину гор, по каким-то девственным лесам и горным тропинкам, протоптанным медведями. Это было чуть ли не самый красочный момент в сибирской жизни Виктора Константиновича.

Я не намерен давать здесь биографию Виктора Константиновича и ограничусь только маленькой справкой¹.

В его лице мы имели одного из самых ранних и вполне зрелых представителей марксизма. Начал он свою, так сказать, революционную карьеру, как и многие из нас, с исповедания народовольческого символа веры в 80-х годах, был арестован как народоволец и сослан в Шенкурск на 3 года, после чего уехал в Швейцарию завершить своё образование за границей. По приезде в Россию он был арестован русскими жандармами на границе и после высылки в тюрьме получил 4 года или 5 лет ссылки в Восточ-

¹ Подробности о жизни и деятельности В. К. Курнатовского читатель найдёт в биографическом очерке «Виктор Константинович Курнатовский», составленном Ек. Окуловой (Госполитиздат, 1948 г.). (Прим. ред. к 4-му изд.)

ную Сибирь. Выпущенный по отбытии этого срока на свободу, он по уши погрузился в революционную работу на Кавказе (если не ошибаюсь, он вызвал к жизни тифлисский социал-демократический комитет). В 1901 г. он в Тифлисе попадает в лапы жандармерии (провал тифлиских социал-демократов явился делом рук провокатора Тарасенко), и для Виктора Константиновича начинается снова ряд тяжёлых испытаний; два года он отсидел в Метехском замке, затем был сослан в Якутку. Здесь он в 1904 г. является участником знаменитой романовской истории, каким-то чудом избегает расстрела и успевает бежать в Японию, а затем в Австралию. Австралийский период его жизни принадлежит к числу самых тяжёлых: нужда его загнала в глубь австралийских лесов, где он со своим слабым здоровьем принуждён был зарабатывать себе на кусок хлеба тяжёлою работою по пилке и рубке леса. Очень часто приходилось ночевать под открытым небом и мокнуть под дождём. Здесь он простудился, и воспалительные процессы в его ухе до такой степени обострились, что перед ним встала дилемма: или напрячь все усилия, чтобы добраться до какого-нибудь культурного центра, где ему смогли бы сделать серьёзную операцию уха, либо ожидать мучительной смерти. Наконец, ему удаётся сесть на пароход и приехать в Европу. В Париже ему делают операцию уха, и он спасается, таким образом, от смерти, но уже абсолютно глохнет. Воспалительный процесс, однако, скоро в оперированном ухе повторился, и Виктор Константинович на этот раз почувствовал себя уже окончательно приговорённым к смерти. После многих дней сверхчеловеческих страданий он закрыл глаза навеки.

Такова, в беглых словах, повесть страдальческой жизни этого незаурядного человека, завоевавшего себе почётное место в ряду тех, о которых мы поём: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Я уже сказал, что наша курагинская колония перекочевала в с. Ермаковское, тоже Минусинского уезда: сначала туда перебрался Виктор Константинович, а потом и я с семьёй. Нужно заметить, что в Минусинском уезде местная полиция была много покладистее, чем енисейская. Моя просьба о переводе в Ермаковское была быстро удовлетворена, причём выставленный мною мотив — нежелание остаться в одиночестве вдаль от других товарищей —

не показался диким исправнику. Полиция и сама была заинтересована в том, чтобы не распылять без особой надобности политических по разным углам, а рассадить их небольшими кучками, дабы, с одной стороны, у них было менее поводов к протестам, а с другой — в интересах экономики по надзору: по возможности менее тратить средства на содержание надзирателей, наблюдающих за ссыльными.

Таким образом, в Ермаковском набралась порядочная колония: вслед за курагинцами (Курнатовский и я с женой) подъехал из Енисейска Ванеев с женой, затем Мих. Ал. Сильвин (по делу Петербургского союза), к которому впоследствии приехала из Рязани (легально) невеста; наконец, сюда же перебрался из с. Тесинского петербургский рабочий Н. Панин. На этот раз вся ссылка состояла из единомышленников социал-демократов и никаких поводов среди нас для столкновений и раздоров не было.

Потянулись тихие, в обывательском смысле «нормальные», летние, потом осенние и, наконец, зимние дни. Окружающая природа действовала успокоительно на нервы. Порывисто бежала к Енисею горная речка Оя в своих берегах. Хмурые ели и кокетливые берёзы, покачивая зелёными головами, гляделись в её воды. А вдали, на фоне голубого неба, вырисовывались фиолетовые с белыми верхушками зубцы далёких Саянских гор.

Впрочем, далеко не все мы могли считать себя субъектами «счастливой» идиллической жизни.

Медленной, но неумолимо подкрадывающейся тихими шагами смертью умирал А. А. Ванеев. Переселение его из сурового по климату Енисейска в сравнительно благодатное Ермаковское оказалось запоздалой мерой, чтобы задержать быстро прогрессирующий процесс распада его съедаемых туберкулёзной бациллой лёгких. Бедняга таял с каждым днём, с каждым часом. Из глубоких впадин лихорадочным блеском светились два синих глаза, в которых виднелась мучительно грустная картина непрекращающейся ни на одну минуту борьбы между громко кричащим инстинктом жизни и философским примирением с перспективою небытия. Приближалась осень третьего и последнего года нашей ссылки. Светлые тона ласкового «бабьего» лета, ещё не ушедшего в прожорливую пасть «минувшего», перемежались с трауром сентябрьского увя-

дания природы. Для тех, кто не чувствовал над собой холодного веяния крыльев смерти, это увядание было поводом для приятно-грустных элегических переживаний. Ведь впереди было много ещё моментов возвращения летнего солнца и ликования торжествующей жизни в природе. Но для Ванеева это были уже последние ласки солнца, последние поцелуи свежего ветерка, напоённого запахами подсыхающих трав и цветов, последние улыбки бирюзового неба, заглядывающего к нему через открытое окно... Больного уговаривали не злоупотреблять пребыванием у открытого окна, чтобы не подвергаться риску простуды. Но он игнорировал эти советы, так как боялся потерять хоть малейшую крупицу из того, что напоследок дарила ему мать-природа.

Наконец, нитка жизни его оборвалась.

Мы его похоронили «без попов, без свечей и без ла- дана», и, уходя от его свежей могилы, каждый из нас там «мысль свою позабыл».

Невесело сложилась и моя личная жизнь в Ермаковском. Моя шестимесячная дочурка заболела жестоким дифтеритом с крайне тяжёлыми осложнениями, от которых её жизнь висела на волоске в течение многих длинных, мучительных для меня и жены месяцев.

Вернёмся, однако, к более заслуживающим внимания моментам нашей минусинской ссылки и вообще к более весёлым мотивам.

Большими праздниками были для нас съезды всех или большинства социал-демократов Минусинского уезда вместе с Владимиром Ильичём Ульяновым. Съезжались обыкновенно или в Минусинске, где жили переведшиеся из с. Тесинского Кржижановский с недавно приехавшей к нему Зинаидой Павловной Невзоровой, ставшей его женой, и супруги Старковы, а также рабочий поляк Чекальский, или в с. Шушенском (проще в «Шуше»), в месте ссылки В. И. Ульянова, к которому тоже приехала невеста, ставшая его женою, Н. К. Крупская (из других политических ссыльных в «Шуше» я помню только рабочих — эстонца Оскара Энберга и поляка Проминского), или, наконец, у нас в Ермаковском. Кроме упомянутых лиц в числе ссыльных социал-демократов Минусинского уезда следует ещё упомянуть политических ссыльных в с. Тесинском: петербургского рабочего (слесаря) Александра Сидоровича Шаповалова, арестованного в Петербурге в

связи с лахтинской типографией (этот старый партийный деятель работал потом среди большевиков в Киеве, а впоследствии жил долгое время за границей), знакомого уже читателю Ф. В. Ленгника, переведшегося из Казачьего, и Егора Васильевича Барамзина.

Но наибольший интерес для всех нас представляла личность Владимира Ильича. Около него чаще всего вертелись наши мысли и наши разговоры.

Ещё в Казачьем мы с Ф. В. Ленгником очень часто делились своими мнениями о роли, о значении и личном характере этого человека. Зная о нём исключительно понаслышке, мы самым легкомысленным образом судили о нём вкривь и вкось, по большей части сходясь на том, что это «генерал» и больше ничего: любит командовать и распоряжается подручными, как шахматными пешками, высокомерно держит себя с окружающими, а между тем куда же, мол, ему до такого гиганта мысли, как Плеханов!..

И мы с Ленгником очень гордились тем приятным сознанием, что нас нельзя упрекнуть в подражании «моде» и что мы несколько не заражены всеобщим среди других с.-д. фетишистским отношением к имени Владимира Ильича...

И всё-таки... страшно было интересно взглянуть хоть единым глазком на этого «генерала», послушать хоть краем уха его «высокомерных» речей, а в случае чего и вызвать его храбро на словесный турнир — не без надежды дать ясные доказательства того, что и у нас головы не соломой набиты, что и мы тоже, можно сказать, не лыком шиты.

Немудрено поэтому, что когда я получил от жены, уехавшей по месту своего нового назначения, письмо с описанием своего первого знакомства с Владимиром Ильичём, я вцепился в это описание всеми щупальцами своего крайне заинтригованного внимания.

Моей жене как-то посчастливилось видеть Ильича ещё в 1894 г. Вот что память её сохранила об этом моменте:

«Мы, новоиспечённые марксисты, с большим почтением относились к имени Струве, признавая его своим идейным вождём, и когда в 1894 г. однажды некоторые из нас получили приглашение в Лесное, на нелегальную «вечеринку со Струве», я, разумеется, помчалась в Лесное, окрылённая надеждою лишний раз услышать «самого» Струве.

Как сейчас помню маленькую дачу, где и был организован фиктивный именинный праздник. В одной из комнат происходили танцы, а в другой была традиционная «мертвецкая», в которой публика пила и горланила «проведёнке, друзья, эту ночь веселей...». Наконец, в самой дальней комнате, переполненной народом, в волнах табачного дыма Струве просвещал жадно внимавшую его словом молодёжь.

Вдруг, из глубины комнаты раздался громкий, смелый, приятно-гортанный голос. Несколько картавя, приземистый лысый человек с остатками тёмно-рыжих кудрей выступил с рядом вопросов и возражений. Величественный Струве поглядывал на дерзкого оппонента весьма пренебрежительно — сверху вниз. А тот, нисколько не смущаясь от «уничтожающего» взгляда общепризнанного «властителя дум», заложив руки в карманы, стал подвергать нашего кумира такому пулемётному огню саркастических выпадов, что Струве не на шутку раскипятился. В особенности взволновала Струве одна реплика его противника: «если ваша мысль будет идти и дальше в этом направлении, то меня нисколько не удивит встреча с вами когда-нибудь по разные стороны баррикады».

Многих до глубины души возмущала эта «дерзость»... Но справедливость требует добавить, что симпатии очень многих из слушателей стали явно склоняться на сторону пришельца. В глазах их светилось радостное оживление. Они инстинктивно стали группироваться около нового пророка. Всё более и более стала вырисовываться картина поляризации аудитории в двух направлениях. Из уст в уста стало переходить и имя новичка: «это — Ульянов... молодой адвокат»...

Вернусь, однако, к полученному мною письму от жены.

По её словам, Владимир Ильич, по каким-то своим делам находившийся в Красноярске в то время, когда она проезжала через этот город, поспешил разыскать её там, чтобы познакомиться и взять под своё покровительство при проезде на пароходе в Минусинск. Произвёл он на неё впечатление самого милого и обходительного человека, каких только ей когда-либо приходилось встречать. Дорогой он был очень заботлив и внимателен и к ней, и к А. М. Старковой, ехавшей к мужу. Когда во время 6-дневного пути на пароходишке, не имевшем буфета, оказался продовольственный кризис, он вызвался раздобыть

для пассажиров продуктов у местных крестьян и быстро стал карабкаться на крутую, высокую гору, которая чуть ли не отвесной стеной спускалась к Енисею.

«Гм...— подумал я тогда же при чтении письма жены,— что-то это не похоже на генеральские замашки...»

Ещё одна особенность поразила жену во время этой поездки на пароходе. Её койка приходилась по соседству с койкой Владимира Ильича, и она имела возможность наблюдать за процессом его чтения. В руках у него была какая-то серьёзная книга. Не проходило и полминуты, как его пальцы перелистывали уже новую страницу. Она заинтересовалась — читает ли он строчку за строчкой или скользит лишь глазами по страницам книги. Владимир Ильич, несколько удивлённый вопросом, с улыбкой ответил:

— Ну, конечно, читаю... И очень внимательно читаю, потому что книга стоит того...

Этот маленький штрих, характеризующий необычайную продуктивность кабинетной работы Владимира Ильича, интересно было бы сопоставить с тем фактом, что впоследствии, на протяжении каких-нибудь нескольких месяцев, он, погружившись в изучение литературы по философии в Парижской национальной библиотеке и в Британском музее, успел написать свою известную книгу «Материализм и эмпириокритицизм», причём в сочинении этом имеются ссылки на сотни изученных им первоисточников на английском, французском, немецком и русском языках.

Увидел я впервые Владимира Ильича в конце 1898 г. в Минусинске, куда мы съехались, чтобы весело провести тесной товарищеской семьёй несколько дней и «встретить новый год».

Под тесной товарищеской семьёй я разумею только минусинских социал-демократов, потому что между новыми пришельцами и старыми ссыльными («стариками») к этому времени успел уже определиться полный разрыв. Дело в том, что в Минусинске разыгралась своя «обыкновенная история», окончившаяся образованием среди ссыльных двух враждебных лагерей. Сыр-бор загорелся из-за побега одного политического, некоего Райчина, примыкавшего к социал-демократам. Задумавши эмигрировать Райчин не подготовил к этому акту остальных ссыльных, и, несмотря на обещание, данное им Старкову, не

удирать раньше известного срока, необходимого остальной колонии, чтобы пообчиститься и приготовиться к возможным полицейским репрессиям после его бегства, слова своего почему-то не сдержал и неожиданно для всех скрылся с горизонта.

Минусинские «аборигены» (Ф. Я. Кон, Тырков, Яковлев, Мельников, Орочко и некоторые другие) подняли шум: свинство, мол, игнорирование элементарных правил ссыльной этики и т. п. В. В. Старков был почему-то взят ими под подозрение в соучастии с Райчиным в заговоре и в нарочитом обмане остальной ссыльной братии.

Дело дошло до товарищеского суда. Приехал из «Шуши» Владимир Ильич и взял на себя представительство интересов обвиняемой стороны (Старкова и Кржижановского). Он великолепно повёл тактику формально-юридического процесса (это, кажется, один из очень немногих случаев в его жизни, когда ему пригодилась его университетская адвокатская выучка). Не давая воли своим субъективным реакциям на политические выпады противников, он с карандашом и бумажкою в руках записывал их ответы на предлагаемые им вопросы. На чём основано такое-то утверждение или такая-то квалификация? Где факты? Какие документальные доказательства? Какие улики? Имеются ли свидетельские показания? И т. д. и т. д.

А как раз вот по части именно фактов, улик, документов у обвинителей дело обстояло очень плохо по вполне понятным причинам, а именно потому, что и самое обвинение возникло, как плод расстроенного воображения и как результат больных нервов закисших в ссылке людей, а не в силу каких-либо похожих на правду фактических данных.

Метод Владимира Ильича, холодно замкнувшегося в оболочку формалиста-юриста, положительно губил «стариков». Они видимо жаждали проявления вспышки раздражения у другой стороны, какой-нибудь истерической выходки, потери душевного равновесия у противника, каких-нибудь неосторожных с его стороны слов, чтобы иметь повод разодрать ризы свои и таким образом с честью выйти из своего затруднительного положения, в которое они были поставлены тактикой Владимира Ильича, но этот последний не давал им возможности ни охнуть, ни вздохнуть. К счастью для них, слишком темпераментный Глеб

Максимиллианович не выдержал тона. Его, что называется, прорвало. Поддавшись на какую-то наивную провокацию, он вышел, наконец, из себя и патетически выразил ту мысль, что если, мол, нас здесь подозревают в гнусности, то и мы должны наплевать на эту гнусную, вздорную трагикомедию.

Само собой разумеется, что его слова потонули в шуме протестов, благородного негодования и истерических выкриков. В результате получился полный разрыв дипломатических сношений.

Владимир Ильич мог только, уходя с «суда» домой, сокрушённо покачать головой и с упрёком заметить Кржижановскому, что тот испортил ему всю музыку.

Итак, приехав в Минусинск со специальной целью отвести душу в кругу близких товарищей, мы с женой посоветовались с остальными товарищами и с общего согласия решили нанести визит «старикам», чтобы засвидетельствовать свою нейтральность по отношению к разыгравшемуся за несколько месяцев перед этим конфликту. Везде мы нашли вполне корректный и даже приветливый приём.

Отбывши эту повинность, мы отдались затем целиком радостному чувству восприятия тех новых впечатлений, которые сулило нам общение с нашими старыми и новыми приятелями. Тут, кроме меня и жены, были супруги Старковы, Кржижановские, Ульяновы, Курнатовский, а если память мне не изменяет, и Екатерина Ивановна Окулова.

Кстати, несколько слов об этой последней и вообще о семье Окуловых. Екатерина Ивановна была старшей представительницей молодого поколения довольно состоятельной ещё тогда (до окончательного разорения) семьи золотопромышленника Ивана Петровича Окулова. Жила эта семья верстах в 60 от Минусинска; в с. Шошине, и была для многих из нас приятным местом посещений и «гостеваний». Любили мы заглядывать в Шошино, привлекаемые туда радушием хозяев, отсутствием в ней мещанства, революционным настроением подрастающей окуловской молодёжи, шумным разговором и смехом, а иногда и танцами вокруг ёлки в огромном зале шошинского «дворца», который мог бы по своим размерам быть предметом гордости в качестве местного клуба для любого губернского городка и который так трудно было зимой нагреть до надлежащей температуры, что хореографические согревательные упражнения далеко не были излишними.

За Е. И. Окуловой уже имелся некоторый революционный стаж. Она уже года два как самоопределилась в качестве социал-демократки, отсидела некоторое время в тюрьме и была выслана из Петербурга на родину под гласный надзор полиции. Но из молодого окуловского «выводка» уже в то время представляла наибольший интерес 20-летняя Глафира Ивановна, деятельно шевелившаяся среди социал-демократов в Красноярске и импонировавшая своей серьёзностью и своим миловидным личиком. Впоследствии она много поработала в качестве «искровки» (под псевдонимом «Зайчик»), а после раскола — в качестве «твердокаменной» большевички.

Я не стану подробно описывать, как мы проводили время в Минусинске, а остановлю лишь внимание читателя на центральной фигуре нашей минусинской ссылки — на Владимире Ильиче Ульянове, которого я успел достаточно оценить уже тогда — за несколько дней пребывания с ним в одном доме.

Расскажу в нескольких словах, как Владимир Ильич и в обстановке скучной ссылки сохранял своё обычное жизнерадостное лицо, обставив свою ссылную жизнь по-своему, по-ильичёвски, доступным для него нравственным комфортом.

Не только в тюрьме, коротая там «долгие летние дни и тёмные зимние ночи», но и во время своего шушенского пленения Ильич никогда не превращался в ослабевшего духом нытика. И здесь для его творческой эмоциональной натуры не было недостатка в объектах для деятельной реакции со стороны его ума и нервов. Начиная с шушенского микрокосма (с его крестьянскими интересами глухого сибирского захолустья) и кончая эпопеей мировой борьбы труда с капитализмом, за которой Владимир Ильич внимательно следил из своего сибирского далека, — всё его занимало и вызывало на какие-нибудь действенные акты.

Правда, с шушенскими богатеями, с деревенской аристократией Ильич старался не иметь контакта. Но к крестьянской бедноте он чувствовал большие симпатии, приходил к ней на помощь своими адвокатскими советами, заводил с некоторыми из её представителей (например, с крестьянином Ермолаевым) приятельские отношения, хаживал к ним в гости, солидаризировался с ними на почве личных интересов к охоте на тетеревов и т. д. Слишком

близко подходить к жизни крестьян для политического изгнанника было невозможно, если он не хотел рисковать осложнениями своей ссылке — вроде прибавки лишних лет к сроку своей ссылки или этапной прогулки в места более пустынные и более отдалённые. А Ильич слишком дорожил основным делом своей жизни, чтобы ради соблазна дать простор своему чувству действительной симпатии к окружающим «мирным детям труда» в шушенском масштабе рисковать своей будущей свободой, на которую он возлагал большие надежды в связи со своими замыслами по части партийной работы во всероссийском масштабе. Поэтому он был крайне осторожен и старался не дать поводов для местной жандармерии придаться к случаю и затянуть его надолго в ссылное болото.

Кроме того, за вычетом тех моментов, когда ему удавалось отдохнуть на охоте или провести несколько дней в кругу близких товарищей, он почти всё своё время посвящал литературной работе, которая отличалась большой продуктивностью за этот период его жизни.

Это был краткий миг расцвета так называемого легального марксизма, и Ильич использовал удобный случай для пропаганды своих марксистских идей со свойственной ему работоспособностью. Он заканчивает в ссылке и окончательно обрабатывает для печати свою книгу «Развитие капитализма в России», пишет массу статей для журналов («Новое слово», «Научное обозрение», «Начало», «Жизнь») и издаёт целый сборник «Экономические этюды и статьи». Но и это ещё не всё: он продолжает следить за новинками в марксистской литературе на русском и иностранных языках (в 1899 г., например, только что вышла книга Каутского «Agriculture» и приковала к себе на время всё внимание Ильича), бьёт тревогу по поводу всё более и более разъедающего социал-демократию оппортунизма (бернштейнианства у немцев, «экономизма» в России и т. д.), собирает вокруг себя всю ссылную по уезду социал-демократическую публику, чтобы из своего минусинского далека подкрепить той или иной резолюцией (например, знаменитым «протестом 17», о чём мы скажем несколько слов ниже) позицию «старого» марксистского поколения и в Женеве и в местных центрах работы, — одним словом, старается не отстать от живой революционной борьбы, не оторваться от действующих кадров партийных работников и быть в курсе вопросов, волнующих

партию. Никто другой так не радовался I партийному съезду, как Владимир Ильич. Это был для него в ссылке огромный праздник. И никакие тысячевёрстные пространства, никакие пустыни, никакие тюремные стены не могли оторвать его от революционной стихии.

Но, говоря о деятельной жизни Ильича в ссылке, нельзя не отметить и тех моментов, которые он посвящал отдыху. Огромная теоретическая работа не могла уж до такой степени поглотить все его минуты, чтобы он не мог позволить себе роскоши поразнообразить свою монотонную ссылную жизнь какими-нибудь способами, дать законный отдых своему напряжённому работающему мозгу.

Но этот отдых его заключался не в том, чтобы кеифовать, лёжа на постели, и предаваться приятному ничегонеделанию, а в том, чтобы дать работу мускулам своих ног, расшевелить каждый участок своей сосудистой системы, заставить сердце биться здоровым, отчётливым темпом, привести лёгкие в более деятельное состояние, приятно взбудоражить нервы и вообще физиологически, всем своим существом, почувствовать радость жизни. Словом, и в отдыхе он был также подвижен и деятелен, как и в процессе самой напряжённой работы.

Из всех видов отдыха он особенно любил охоту. Результаты его охотничьих экскурсий в смысле количества подстреленной дичи обычно были минимальны, ибо птицы, на которых направлялось смертоносное дуло его ружья, почти всегда имели повод ехидно посмеиваться над искусством горе-охотника по части стрельбы. Но это обстоятельство отнюдь не обескураживало стрелка. Он всё-таки успевал удовлетворить присущему ему инстинкту борьбы, когда хитро подкрадывался к намеченной жертве, беспечно сидящей на суку дерева, когда измерял «привычным» взглядом пространство, отделяющее несчастного вальдшнепа от дула ружья, и всеми фибрами своей души предвкушал счастливые последствия от своего «верного» прицела, не особенно, впрочем, огорчаясь, если пернатая цель после «смертельного» выстрела устремлялась не вниз кувырком, а ввысь, утопая в сиянии голубого дня.

Но, быть может, даже не в этом, не в этой иллюзии охотничьих достижений, заключалась для него главная прелесть охоты. Ведь природу он любил чрезвычайно.

И легко себе представить, с каким наслаждением он шагал по шушенским зарослям и болотцам. Кругом без-

людье, простор и тишина. Пьянят ароматы лугов и лесов, носится запах еловой смолы. Колышется ковыль. Цветы, словно пёстрая демонстрирующая толпа счастливых представителей жизни на земле, толпятся вокруг, усмеваются всеми своими колерами, пошевеливают синими, жёлтыми, белыми, красными головками и будят в душе смутные переживания золотого детства. Вверху — незапятнанная ни единым облачком манящая лазурь.

А мускулистые, пружинистые ноги охотника всё шагают и шагают, перепрыгивая с кочки на кочку, а встревоженный вальдшнеп спокойно улетает из-под самого носа.

Далеко не всегда, однако, его удовлетворяло одиночество. Время от времени его тянуло пожить на людях. Правда, он не искал никакого иного общества, кроме полутора дюжин товарищей, рассеянных по разным углам Минусинского уезда, и даже чуждался общения с политическими ссыльными не социал-демократами. Но зато он охотно мечтал о тех немногих праздничных днях, когда, по уговору, вся наша ссыльная минусинская братия (социал-демократов) должна была съехаться, чтобы совместно, в своей тесной товарищеской семье, провести время.

Квартирка, в которой скучивались «съездовцы», наполнялась шумом и гамом. Ни дать, ни взять — пчелиный улей! Все спешили наговориться, нахототаться, наспориться, словом, насытить свои изголодавшиеся души счастьем общения с близкими по духу людьми. И Ильич не только не скучал в этом обществе, а, наоборот, был наиболее жизнерадостным членом его. У него за последние месяцы накопилось много вопросов, которые он хотел бы обсудить сообща. Для него присутствие десятка товарищей — это ведь уже настоящая кружковая обстановка для дискуссий. Он давно уже водится с «логикой» Гегеля и охотно возвращается к тем мыслям, которые навеяны на него этой тщательно проштудированной им книжкой¹. Затем, немало нужно посвятить внимания и последнему номеру «Рабочей мысли», где «молодые» договорились уже чорт знает до каких геркулесовых столбов оппортунизма. Ну и «Антибернштейн» Каутского — тоже не по-

¹ Владимир Ильич, насколько помнится, тщательно изучал в ссылке «Науку логики» (а может быть и другой труд) Гегеля и требовал (не совсем, впрочем, успешно) и от нас, окружавших его товарищей, достаточного внимания к идеям этого философского трактата.

следний источник для оживлённейших разговоров. А тут ещё это неокантианство, о котором нужно основательно побеседовать с Фридрихом Вильгельмовичем Ленгником. Одним словом, два-три дня, отведённых судьбою, в лице минусинского исправника, для шушенского отшельника в качестве праздника, который он должен использовать, чтобы выложить перед минусинской товарищеской средой тысячи вихрящихся в его голове мыслей и расшевелить их мозги отчаянным «спором» (что очень напоминало «драку» между медведицей и её медвежатами в интересах тренировки малых детёнышей) — эти два-три дня проходят, как единый миг, для всех минусинцев, а в том числе и для Ильича.

Когда я впервые встретился с Ильичём, то все мои представления о нём, как о «генерале», о насмешливом, заносчивом и жёстком человеке, рассеялись в прах после первых же минут знакомства с ним. Никто из нас не отличался таким естественно простым, милым, хорошим отношением к окружающим людям, такой чуткостью, деликатностью и таким уважением к свободе и к человеческому достоинству каждого из нас, его товарищей и единомышленников.

Правда, опасно было слишком неосторожной рукой залезать в его умственную кладовую с намерением нарушить сложившийся там порядок идей. Если нападения на него со стороны какого-нибудь спорщика принимают слишком уж претенциозный характер, он никогда не прочь принять вызов, но зато уж тот только держись. Диалектика у Владимира Ильича сокрушительная. Все неясности речи храброго витязя, все неудачные его фразки и словечки, все «эмбрионы» проскользнувшей у него ереси в потенции будут мгновенно подхвачены на острие ильичёвского сарказма, причём смеющиеся, мечущие время от времени искры убийственной иронии, пронзительные чёрные глаза с раскосом на широком скуластом лице положительно приводят оппонента Ильича в смущение и заставляют его язык прилипать к гортани.

Одна любопытная особенность полемики Ильича: он не столько защищает свою мысль, сколько обыкновенно нападает на мысль противника, заставляя этого последнего становиться в оборонительную позу. Но эта оборона ведёт только к тому, что у Ильича получается всё более и более объектов для жестокой критики. Он пользуется

тезисами или даже «случайными» фразами противника, чтобы уложить в них определённое жизненное содержание и вскрыть их подоплёку, переводя их с языка мудрёной, путаной, туманной фразеологии на язык конкретной живой действительности, так что автор инкриминируемых словечек или фраз приходит в ужас от этих операций. У обиженного противника получается такое убеждение, что Ильич «придирается» к нему и «искажает» его мысль в кривом зеркале своей критики до полной неузнаваемости. Недаром Мартов когда-то в одной из своих полемических брошюр против Ленина во время послесъездовского раскола жалобно пищал, что Ленин не желает понять его аргументации и якобы своими вечными «уклонениями» в сторону от существа спорного вопроса ускользает из клещей его, мартовской, логики, как вьюн из-под пальцев рыболова.

Ошибочно, однако, было бы думать, что у Владимира Ильича только и было на уме, как бы подловить того или иного завравшегося болтунишку и тяжеловесными ударами своей страшной логики уложить его наповал. Что касается нас, близких к нему товарищей, то он очень благодушно смотрел на пробелы и дефекты нашей мысли, относясь к нам скорее как педагог, чем как полемист. Увлекаясь какими-нибудь новыми теоретическими построениями, он был полон жажды поделиться своими интересными идеями с нами, приобщить нас к соблюдованному им источнику интеллектуальных наслаждений и поднять наше сознание до уровня его мысли. В таких случаях он буквально нянчился с нами, как со своими питомцами.

Мне кстати вспоминается один момент, характеризующий Ильича как педагога.

Во время заграничной эмиграции, в 1904 г., в самые «тихие», мёртвые для большевизма дни, в момент максимума большевистских невзгод, он не позволял нам впасть в состояние прострации или умственной дремоты и организовал регулярные собрания кучки женевских большевиков с целью систематического штудирования под его руководством партийной программы. И что за умирительную картину представляли эти собрания! Левый лукавый глазок Ильича светился добрым-добрым огоньком и вовсе не обнаруживал тенденции подстрелить молнией иронии какого-нибудь очередного горе-оратора. Никто не стеснялся

«высказаться». Хотя говорилось и много благоглупостей, но Ильич всегда мягко и деликатно наводил шатающуюся мысль того или иного политического младенца на верный путь. И удивительней всего то, что, несмотря на разнообразие состава аудитории, в которой были и интеллигенты с значительной теоретической выучкой и едва-едва грамотные рабочие,— все чувствовали себя в одинаковой мере учениками приготовительного класса, которым предстоит пройти большой путь обучения элементам партийной грамоты. Достигал этого Ильич тем, что несколько повышал требования к туманной, интеллигентской фразеологии, подвергая её более тщательному критическому осмотру, и в то же время чутким ухом ловил на лету всякую здоровую, подсказанную пролетарским инстинктом рабочего мысль, хотя и выкроенную иногда суконным языком малограмотного человека. В результате — все остались очень довольны этими уроками, и редкий из нас позволял себе без особо уважительных причин пропустить очередное собрание нашей партийной школы.

Обычно принято в своей дружественной, так сказать, литературе изображать Владимира Ильича исключительно в стиле героическом, как редчайший в жизни человечества экземпляр, счастливо совмещающий в себе необычайную силу теоретически развитого ума с огромною волею политика, раз навсегда наметившего для себя неуклонный путь борьбы за торжество своего социального идеала.

Всё это хорошо, всё это, конечно, в общем и целом неоспоримо, но в нарисованном таким образом портрете не будет хватать лишь одного — живых чёрточек реально существующего человека. И в самом деле, как ни titаничен величайший вождь мирового пролетариата, но он всё-таки не отвлечённая идея без плоти и крови, не легендарный герой народной фантазии, абстрагированный от всего смертного и преходящего, а именно живой человек, который имеет право, как и все прочие смертные люди, сказать про себя: «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Без этих маленьких штрихов, без этих мелких чёрточек «земного» происхождения, столь симпатичных в сочетании с тем великим, что возвышает Владимира Ильича над окружающей его толпой, получился бы не живой портрет, а несколько приторный иконописный образ «небожителя», нарисованный на предмет преклонения перед ним толпы и воскурения фимиамов.

Игра творческих сил в нём говорила гораздо сильнее, чем в ком бы то ни было из окружавших его людей. Во время своей молодости, будучи в ссылке, он необычайно охотно и со всем пылом страсти отдавался всякого рода физическому и умственному спорту.

Высыпает, например, своя компания на гладкий лёд замёрзшей реки, чтобы «погиганить» на коньках. Возбуждённый и жизнерадостный Ильич уже первый там и задорно выкрикивает: «ну-ка, кто со мной вперегонку»... И вот уж несколько пар ног на славу работают, «завоёвывающая пространство». А впереди всех Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, наподобие излюбленных персонажей Джека Лондона, лишь бы победить во что бы то ни стало и каким угодно напряжением сил.

Или, например, наши любители охоты собираются побаловаться с ружьишкой за плечами. Лучшие охотники — Курнатовский и Старков. Что же касается Ильича, то он большой мастер «пуделять» (охотничий термин, означающий неудачные выстрелы, с промахами). Но разве может он и в этом деле отстать от других, быть в числе «последних». Ни в каком случае. И если Старков исходит 20 вёрст, то Ильич избегает (буквально избегает) по кочкам и болотам 40 вёрст, гонимый надеждою где-нибудь набрести на такую глупую птицу, которая позволит приблизиться к ней на расстояние достаточно близкое, чтобы какая-нибудь шальная дробишка неудачника-охотника нашла-таки, наконец, свою несчастную жертву.

Но ярче всего натура Ильича, как спортсмена, сказывалась в шахматной игре.

Как известно, и Маркс, и Энгельс, и Либкнехт очень любили шахматную игру, причём проигрыши партий для Маркса очень часто были источниками сильного нервного раздражения. Владимир Ильич никогда не раздражался по поводу шахматных своих неудач, но любил эту игру не менее Маркса.

Пишущий эти строки тоже принадлежит к числу больших поклонников этого вида спорта, и одним из самых приятных для меня воспоминаний является то время, когда я заполнял свою скучную, однообразную жизнь в Курагине нетерпеливым поджиданием два раза в неделю писем от Владимира Ильича, с которым я затеял игру по переписке. Эти письма были приятны для меня прежде всего потому, что Владимир Ильич, кроме очередных шах-

матных ходов, всегда уж бывало напишет страничку-другую, в которой поделится своими литературными планами, расскажет, что он сейчас пишет, какая на горизонте появилась новая оппортунистическая звезда и т. д. и т. д. (Эти письма, которых у меня накопилось два-три десятка, жандармы во время одного из обысков, кажется в Пскове, отобрали у меня, и они так где-то и погибли в охранке). Но специфический интерес представляли для меня тогда и очередные ответы моего шахматного партнёра. Я возился с этой партией, как чуть ли не с заветной задачей своей жизни. Всё моё свободное время (а у меня его было много) уходило у меня на то, чтобы создавать на шахматной доске всевозможные вариации ближайших шахматных комбинаций и выбирать, таким образом, наилучшую из них. А так как Владимир Ильич мог тратить на это дело минуты, а не многие часы в день, то он, в конце концов, партию проиграл, и я был счастливейшим из смертных.

Когда я впервые познакомился в Минусинске с Владимиром Ильичём, то с нетерпением жаждал померяться с ним силами на шахматной доске. Старков и Кржижановский, которых я систематически обыгрывал во время нашего этапного путешествия в вагоне из Петербурга в Москву и из Москвы в Сибирь, были очень высокого мнения о моём шахматном искусстве и подзадоривали и меня и Ильича поскорее засесть за шахматный столик. Мы не заставили себя долго уламывать и чуть ли не через четверть же часа после первого свидания сидели друг против друга, углубившись в игру.

Не без некоторого волнения я стал передвигать пешки и фигуры. Скоро результат игры выяснился: я торжественно и чудно партию проиграл.

— Ну что ж! Это со мною иногда случается, в особенности если я начинаю играть с новым партнёром, к манере игры которого я не успел ещё привыкнуть. Вот посмотрим, что скажет вторая партия.

Но и другая партия кончилась для меня столь же печально.

— О-о, чорт побери, реванш, скорее реванш!!

Но и третья и четвёртая партии имели тот же финал при общем ликовании моих старых шахматных противников — Старкова и Кржижановского.

Нечего делать, как это ни неприятно было для самолюбия, но пришлось согласиться на игру с компенсацией

сил: Ильич снимал у себя какую-нибудь лёгкую фигуру, и тогда шансы на победу уравнивались.

Помню, между прочим, как мы втроём, т. е. я, Старков и Кржижановский, стали играть с Ильичём по совещанию. Роль лидера тройственного соглашения принадлежала, конечно, мне, но лежавшая на мне обязанность выяснять перед своими союзниками значение тех или иных ходов удваивала напряжение моих сил и моего внимания. И о счастье, о восторг! Ильич «сдрейфил»... Ильич терпит поражение. Он уже потерял одну фигуру, и дела его совершенно не важны. Победа обеспечена за нами.

Рожи у представителей шахматной «антанты» — весёлые, плутовские, с оскалом белых зубов — всё более и более ширятся.

«Антанта» зло подсмеивается над добиваемым противником и в шутилой болтовне выражает свой неподдельный восторг, смакуя удачные последствия того гениального хода белых, который для чёрных оказался весьма роковым, а между тем не замечает того, что полуразбитый, но ещё не капитулировавший враг сидит в застывшей позе над доской, как каменное изваяние, олицетворяющее сверхчеловеческое напряжение мысли. На его огромном лбу с характерными «сократовскими» выпуклостями выступили капельки пота, голова низко наклонена к шахматной доске, глаза неподвижно устремлены на тот уголок её, где сосредоточен был стратегический главный пункт битвы... Ни единый мускул не дрогнет на этом, словно вырезанном из кости, лице, на широких висках которого напряглись синеватые жилки...

Легенда гласит, что Архимед, углублённый в решение своей геометрической задачи, не подарил ни малейшим знаком внимания римского солдата, который обнаружил по отношению к нему достаточно явные агрессивные намерения. Ильич в этот момент напоминает Архимеда. Повидимому, если бы кто-нибудь крикнул сейчас: «пожар! горим! спасайтесь!...» — он бы и бровью не пошевелил. Цель его жизни в данную минуту заключается в том, чтобы не поддаться, чтобы устоять, чтобы не признать себя побеждённым, не капитулировать, а выйти с честью из затруднительного положения...

Легкомысленная «антанта» ничего этого не замечает.

Первый забил тревогу её лидер.

— Ба, ба, ба, это что-то нами непредвиденное...— голосом, полным тревоги, реагирует он на сделанный Ильичём великолепный манёвр.— Гм... гм... це дило треба розжуваты,— бормочет он себе под нос.

Но увы! разжёвывать нужно было раньше, а теперь уже поздно. Двумя-тремя «тихими» ходами упорный противник «антанты», под шумок её преждевременного ликования, создал совершенно неожиданную для союзников ситуацию, и боевое «счастье» им изменило.

С этого момента их лица всё более и более вытягиваются, а у Ильича глаза загораются лукавым огоньком. Союзники начинают переругиваться между собою, попрекая друг друга в ротозействе, а их победитель весело-пресело улыбается и вытирает платком пот со лба.

Несколько дней, ассигнованных на наш минусинский праздничный съезд, пролетают, как один миг. Шахматы, весёлая болтовня, дискуссии, прогулки и опять шахматы, а для разнообразия — и хоровое пение.

Следует, впрочем, подчеркнуть, что пение принадлежит к числу не последних номеров в нашей программе. Я уже говорил выше о мастерстве В. В. Старкова по части организации хоров и о его большом тяготении к этому рода эстетическому наслаждению. Но особую страстность и бьющую ключом жизнь в наши вокальные увлечения вносит Владимир Ильич. Когда дело доходит до выполнения нашего обычного репертуара, он входит в раж и начинает командовать:

— К чорту «такую её долю»,— выкрикивает он (любимая вещь у Василия Васильевича — тягучая меланхолическая песня «Така ж ии доля, о боже ж мий милий»).— Давайте зажарим: «Смело, товарищи, в ногу»!

И тотчас же, чтобы избежать дальнейших парламентских проволок по части вырешения вопроса о естественной очереди предлагаемого им номера, который, признаться сказать, достаточно уже успел поднадоесть остальной компании, он спешит затянуть своим несколько хриплым голосом, представляющим нечто среднее между баритоном, басом и тенором:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом скрепнув в борьбе...

И когда ему кажется, что честная компания недостаточно отчётливо фразирует козырные места песенки, он,

с разгоревшимися глазами, начинает энергично в такт размахивать кулаками, нетерпеливо притопывать ногой и подчёркивает, в ущерб элементарным правилам гармонии, нравящиеся ему места напряжением своих голосовых средств, причём очень часто, к ужасу Василия Васильевича, с повышением какой-нибудь ответственной ноты на полтона или даже на целый тон...

И водрузим над землею
Красное знамя труда! —

гремит его «нечто вроде баритона», заглушая все остальные голоса...

Раз уже речь зашла об эстетической природе Владимира Ильича, то для полноты картины следует добавить несколько штрихов.

Владимир Ильич не только не лишён чувства изящного, не только не похож на сухого, чёрствого, не способного ни к каким «нежностям», ни к каким эстетическим эмоциям человека с гипертрофированной природой политического деятеля, но обладает удивительно нежной душой.

Он очень любит музыку и пение. Для него не было когда-то лучшего удовольствия, лучшего способа отдохнуть от кабинетной работы, как послушать (я мысленно переношусь в период нашей эмиграции в 1904—1905 гг.) пение т. Гусева (Драбкина) или игру на скрипке П. А. Красикова под аккомпанемент Лидии Александровны Фотиевой. Тов. Гусев обладал очень недурным, довольно мощным и сочным баритоном, и когда он красиво отчеканивал «нас-не-в цер-кви вен-ча-ли», вся наша семейно-большевистская аудитория слушала его, затаив дыхание, а Владимир Ильич, откинувшись на спинку дивана и охватив руками колено, весь уходил при этом внутрь самого себя и, видимо, переживал какие-то глубокие, одному ему ведомые настроения. Или, например, когда П. А. Красиков вытягивал смычком из своей скрипки чистые прекрасные звуки баркароллы Чайковского, Владимир Ильич первый, по окончании игры, бурно аплодировал и требовал во что бы то ни стало повторения.

А теперь моя мысль спешит перенестись в совершенно другую обстановку (и читатель должен привыкнуть к этой её особенности не стесняться в своих перелётах ни временем, ни пространством).

Подползла проклятая зима 1919 г. Повсюду толки в

Москве о топливном кризисе, о сыпняках... Жуткое чувство тревоги не только охватывает душу обывателя, но и проникает в кремлёвские палаты. В зале большого Совнаркома царит тягостное настроение. Среди всеобщей унылой тишины представитель малого Совнаркома т. Галкин делает доклад относительно спорного, не вызвавшего полного единогласия в малом Совнаркоме, вопроса об отоплении государственных театров. Вопрос сам по себе очень крошечный, но он волнует докладчика, и голос его чуть ли не дрожит. Он не скупится на жёсткие, суровые слова, характеризуя московские центры сценического искусства, как ненужные сейчас для рабоче-крестьянской республики. Чьи эстетические интересы и до сих пор обслуживают наши театры? Во всяком случае не трудового народа. Для кого они доступны? Для буржуазии и спекулянтов. Каково содержание современных пьес? Всё те же буржуазные оперы: «Кармен», «Травиата», «Евгений Онегин» и т. п. вещи. Ничего для народа, ничего для рабочих, ничего для красноармейцев. Уж лучше бы подмостки Большого театра были использованы для целей агитации и пропаганды. А между тем (и в этом месте голос оратора возвышается до мрачного пафоса) к нам идёт и стучится уже в дверь страшная гостья... Смерть от сыпняка становится нашим бытовым явлением... Готовы ли мы для встречи с этой гостьей? Много ли у нас бань, которые являются во время тифозной эпидемии главной профилактической мерой? И хватит ли у нас решимости позволить бросать драгоценное топливо в прожорливые печи московских государственных театров для щекотания нервов буржуазных барынь в бриллиантах, в то время как лишняя, отапливаемая этими дровами баня, быть может, спасёт сотни рабочих от болезни и смерти...

— Ой, прихлопнут театры,— сжалось при этом моё сердце. Тов. Галкин умолк. А. В. Луначарского нет в зале (он бы, конечно, горячо вступился за своё детище), и ответное слово берёт лишь представитель театров, никому не импонирующий своей бесцветной, казённой речью. Судьба театров, видимо, предрешена.

Владимир Ильич ставит вопрос на голосование. И только лишь как бы мимоходом, в форме маленького нотабене, бросает перед голосованием две-три фразы.

— Мне только кажется,— говорит он, сверкнув своими смеющимися глазами,— что т. Галкин имеет несколько

наивное представление о роли и назначении театра. Театр нужен не столько для пропаганды, сколько для отдыха работников от повседневной работы. И наследство от буржуазного искусства нам рано ещё сдавать в архив... Итак, кто за предложение т. Галкина, прошу поднять руки.

Само собой разумеется, что после сказанных «мимоходом» слов Ильича т. Галкину не удалось собрать большинства. Театры были спасены.

Никто, между прочим, не представляет себе Ильича как большого любителя поэзии, и именно поэзии классической, немножко отдающей стариной. Он никогда не прочь, в очень редкие минуты своего отдыха, заглянуть в какой-нибудь томик Шекспира, Шиллера, Байрона, Пушкина и даже таких менее крупных поэтов, как Баратынский или Тютчев. Даже, если не ошибаюсь, Тютчев пользуется его преимущественным благорасположением.

Говоря о Владимире Ильиче, нельзя было бы пройти мимо или проглядеть спутницу его жизни — Надежду Константиновну Крупскую. Кто сейчас не знает этой замечательной женщины, с редкой начитанностью, с огромной энциклопедической эрудицией, с широким умственным горизонтом, позволяющим ей всегда великолепно ориентироваться в очень сложных проблемах марксизма (в особенности по вопросам просвещения), и в то же самое время побившей рекорд скромности и подвижничества, в течение многих десятков лет стужёвывавшаяся в незаметной роли секретаря нашей партии, шифрующего и расшифровывающего тысячи конспиративных писем? Предмет её постоянных дум и симпатий — пролетариат, — да не тот пролетариат, отвлечённый, книжно-схематичный, — пролетариат как социальная категория, который является фетишем многих теоретиков-социалистов, а живой, осязательный, состоящий из конкретных лиц — из товарищей А, В, С, Д — из всех этих фигур в рабочих блузах и потёртых пиджаках, столь знакомых ей ещё с 1894—1896 гг. по давнишней её работе в вечерне-воскресной школе за Невской заставой. Быть может, самым красочным периодом в её жизни было то время, когда она занималась именно в этой школе или обучала политической грамоте рабочих Выборгского района.

В Сибири не было подходящего объекта для такого рода педагогической работы среди взрослых. Буржуазно настроенное сибирское крестьянство стояло далеко от по-

литических ссыльных, а из рабочих, например, в «Шуше» перепадали по временам лишь ссыльные одиночки, вроде эстонца Оскара Энберга. Но зато тем сильнее тянуло её любящую педагогическую душу к миру деревенской детворы.

Незадолго перед смертью А. А. Ванеева наше Ермаковское было ареной шумного, многолюдного съезда. Все социал-демократы Минусинского уезда летом (кажется, в августе) 1899 г. собрались по инициативе Владимира Ильича, чтобы достойным образом реагировать на пресловутое *profession de foi* так называемых «молодых» социал-демократов, — на известный документ под названием «Credo». Получивши из Петербурга рукопись с этим «кредо», Владимир Ильич взволновался, как охотник, почуявший близость очень крупной дичи. Он сейчас же составил себе план отповеди авторам «Credo» и набросал проект протеста против этого нового символа веры. Было решено «Протест» сделать коллективным, и для этой цели всем товарищам собраться в с. Ермаковском (именно в Ермаковском, главным образом потому, что А. А. Ванеев был уже в это время окончательно прикован к постели и не мог бы приехать в Минусинск или иной какой-нибудь пункт).

«Протест» начинался словами: «Собрание социал-демократов одной местности, в числе 17 человек, приняло единогласно следующую резолюцию»... Кто же эти 17 человек? Я думаю, что мне удастся вспомнить всех участников собрания, принявших эту резолюцию. Вот эти участники: а) из с. Шушенского: 1) Владимир Ильич Ульянов, 2) Н. К. Ульянова (Крупская), 3) Оскар Энберг (петербургский рабочий); б) из Минусинска: 4) В. В. Старков, 5) А. М. Старкова, 6) Г. М. Кржижановский, 7) З. П. Кржижановская (Невзорова); в) из с. Тесинского: 8) А. С. Шаповалов (петербургский рабочий), 9) Н. Н. Панин (петербургский рабочий), 10) Ф. В. Ленгник, 11) Егор Васильевич Барамзин; г) из Ермаковского: 12) А. А. Ванеев, 13) Д. В. Ванеева, 14) М. А. Сильвин, 15) В. К. Курнатовский, 16) О. Б. Лепешинская и 17) П. Н. Лепешинский.

Предварительное оживлённое собрание, сопровождавшееся товарищеским обедом, происходило у меня на квартире, причём я помню, как Владимир Ильич горячо доказывал многим из нас, что «Credo» очень симптоматично,

что прозевать этого явления нельзя, что «экономизм» — грядущая болезнь нашей социал-демократии.

Теперь, оглядываясь назад, можно удивляться лишь тому, что для доказательства этих простых истин среди кучки подобравшихся революционных марксистов Ильичу понадобилось много говорить и даже горячо говорить, убеждая, разъясняя, поучая... Но читатель должен вспомнить, что это было время, когда «экономизм» только-только ещё намечался как определённое течение, когда лейб-орган «экономистов» — «Рабочая мысль» ещё только пока нащупывала свою линию, когда отзвуки заграничного «рабочедельства» ещё не доходили до таких медвежьих углов, как Минусинский уезд, когда стачечная стихия, дававшая тон и главное содержание революционному моменту, приковывала вообще внимание всех марксистов к особой природе рабочих выступлений и когда нужна была исключительная дальнзоркость Владимира Ильича, чтобы предвидеть дальнейшие этапы внутрипартийной борьбы.

Окончательное заседание, на котором была принята резолюция 17, происходило в квартире Ванеева. Нельзя сказать, чтобы единогласие было достигнуто сразу, без всяких прений. Наоборот, и тут, как всегда водится, выделилась оппозиция к проекту и «слева» и «справа». А. А. Ванеев возмущался мягкостью тона резолюции и требовал более категорического, более решительного осуждения авторов одиозного документа. В то же самое время Ф. В. Ленгник настаивал на том, чтобы изъять из резолюции те места, которые устанавливают связь новой линии русских «молодых» социал-демократов с шатанием философской марксистской мысли среди оппортунистических элементов немецкой социал-демократии (неокантианцев). Он ссылался при этом на то, что в данном случае непосвящённым, рядовым марксистам, заброшенным в сибирскую глушь, трудно из своего непрекрасного далека судить о подлинном настроении умов в европейских центрах жизни и лучше поэтому отказаться от гипотетических суждений¹. Владимир Ильич, идя на

¹ Сам Фридрих Вильгельмович Ленгник в описываемое время очень интересовался философией, в частности неокантианством, для чего выписал себе в подлиннике Канта и тщательно штудировал его. На этой почве у него завязалась очень интересная переписка с Владимиром Ильичем (Ильич очень враждебно относился к неокантиан-

уступку в этом отношении, исключил некоторые абзацы из протеста, которые могли бы показаться сомнительными с точки зрения «непосвящённых», но потом, кажется, очень сожалел о своей уступчивости.

Быстро пролетела последняя зима нашей 3-летней ссылки. После двух месяцев жестоких сибирских морозов с температурой не менее 40° по R (а бывало доходило и до 50° с хвостиком), я однажды, в середине февраля, вышел утром из избы на улицу и с удовольствием констатировал потепление: было только 18° ниже 0.

Приближался последний день нашей ссылки (в конце февраля). Задолго до этого мы с женою стали готовить крытый возок, в котором можно было бы провезти нашу маленькую дочурку, только что оправившуюся после дифтерита, через пятисотвёрстное расстояние до станции железной дороги без особенного риска погубить нашего детёныша длинным путешествием. Возок вышел на славу: «покоен, прочен и легок», — обитый тщательно кругом плотными ткаными сибирскими коврами. Для дочурки жена смастерила какую-то замысловатую шубу-мешок из беличьего меха с внутренней и внешней стороны, с капюшоном, наглухо застёгивавшуюся и спереди и снизу. В этой шубе и в этом возке несчастная девочка так изрядно обливалась потом, что, конечно, простудилась при первом же переезде из Ермаковского в Минусинск. По приезде в Минусинск болезнь дочурки снова повергла нас в отчаяние. Кругом нас радостные, счастливые, взволнованные лица. Все полны оживлёнными хлопотами по снаряжению в далёкую дорогу. Владимир Ильич суетится мечты о будущем, перспективы дальнейшей революционной работы (у Владимира Ильича тогда же зародилась уже идея о создании общероссийского социал-демократического органа, около которого будет организовываться вся работа практиков социал-демократов), возвращение в культурные центры жизни — всё это подымало настроение окружающих до небывалого восторженного состояния. Шутки, смех и победные, бодрые песни без конца.

И только наше «святое семейство», поверженное в бездну уныния, стоит в стороне от этого заразительного

ству, а Ф. В. принадлежал ещё в то время к числу надеявшихся отыскать у неокантианцев новое откровение). Их письма друг к другу иногда представляли целые длинные трактаты по философии.

веселья и от этой кипучей суматохи. Болезнь дочурки основательно, повидимому, приковала нас к тому месту, из которого мы с таким же праздничным настроением, с такой же радостной душой, как и остальные товарищи, стремились выпорхнуть на вольную волюшку.

Вот уже поданы тройки. Выносятся узлы и чемоданы. Последние поцелуи и горячие рукопожатия.

— До свидания, друзья...

— Надеюсь, скоро увидимся...

— Ах, если бы вашими устами да мёд пить...

Ушли. На улице побрякивают бубенчики. Слышны весёлые голоса мужчин, усаживающих женщин в возки... Скрипят ворота. Едут... Голоса и бубенцы затихают...

А мы с женою остаёмся одни, чувствуя себя покинутыми, осиротелыми...



НА СВОЁМ ПОСТУ

(В Пскове, 1900—1902 гг.)

Из искры возгорится пламя

С некоторым опозданием я возвращаюсь, наконец, из ссылки (задержавшись в Омске на 2—3 месяца) в Европейскую Россию. Еду я в Псков по вызову Владимира Ильича. Он предложил мне по дороге туда завернуть к нему для переговоров в Подольск (уездный городок Московской губернии, где жила мать Владимира Ильича с семьёй), что я не преминул сделать, отправивши из Москвы жену с дочуркою к себе на родину в Могилёвскую губернию.

Нужно заметить, что после своего отъезда из Сибири Владимир Ильич, преследуя задуманную им цель объединения всех партийных сил в России, не терял ни одной минуты: ездил то в Петербург, то во Псков, то в другие места, устраивая нужные ему свидания, ведя, с кем следует, переговоры, одним словом, спешно собирая кирпичи для будущего грандиозного здания.

Судя по жандармским архивным материалам, доступным сейчас для нас, видно, что охранка зорко следит в это время за ним, тщательно отмечает с помощью филёров, в какой день и час где он был, с кем разговаривал, куда уезжал и прочее. Его нелегальные поездки в Петербург, где он должен был видаться с Цедербаумом, ничуть не были тайной для жандармской полиции. Одним словом, около него невидимая рука уже плела новые сети, заготавливая нужные предпосылки для нахождения всех «нитей и корней» и для создания в недалёком будущем нового грандиозного «дела об Ульянове и других лицах,

именующих себя» и т. д. Но пока что ему предоставляли свободу действий, чем он и воспользовался: сделав всё, что ему было нужно, он получил, совершенно неожиданно для охраны, легальный заграничный паспорт и в июле 1900 г. по терминологии рассвирепевшего департамента полиции, «скрылся» за границу.

Итак, я ещё раз увидел Владимира Ильича в Подольске и познакомился там с его семьёй. Милый, славный, гостеприимный Ильич самым добросовестным образом старался занять меня: водил гулять по Подольску, показывая все достопримечательности города, играл со мною в шахматы, а самое главное — всё время накачивал меня наставлениями относительно моих будущих партийных функций.

Данное им мне задание заключалось в следующем. Я становился одним из агентов будущей социал-демократической газеты, которую предполагалось издавать за границей (не помню, было ли уже тогда для неё придумано название «Искры», под которым она скоро стала выходить, или же она ещё не была окрещена). Постоянный пункт моего пребывания — Псков, где я становлюсь земским статистиком (Ильич уже подготовил для этого почву, и псковское статистическое бюро обо мне уже было осведомлено и меня ждёт). Там я в обывательском смысле скромненько живу и конспиративно обслуживаю газету: посылаю для неё корреспонденции, собираю всяческие печатные и рукописные материалы, веду с её секретарём шифрованную переписку, принимаю транспортированную из-за границы нелегальную литературу и либо до поры до времени храню её у себя, либо распределяю по пред-указанному мне назначению, устраиваю приют в Пскове для нелегальных работников, приехавших из-за границы для сношения с Питером, организую у себя под боком социал-демократическую группу для обслуживания всё того же предприятия и т. д. и т. д. В общем же и целом Псков должен был, по мысли Ильича, служить посредствующим конспиративным пунктом, связывающим за границу с Питером.

В Пскове я действительно застал вполне уже расчищенную почву. Побывав там раза два, Ильич успел произвести целую революцию в умах псковской смирно сидевшей радикальной разночинщины, группировавшейся, как это очень часто в те времена водилось, около «неблагона-

дѣжной» статистики. О нём долгое время после его посещений ходили среди разволновавшейся интеллигенции всякого рода легенды, наделявшие его образ то какими-то необычайно чудесными свойствами сверхчеловека и доброго гения революционной мысли, то дьявольскими качествами разрушителя и осквернителя революционных святынь традиционного народничества.

Он прежде всего импонировал псковским статистикам, а в том числе и аполитичному заведующему псковского бюро Н. М. Кислякову, как автор блестящей в статистическом отношении книжки «Развитие капитализма в России», так что его появление в Пскове было встречено тамошними статистиками, как посещение королём своих верноподданных вассалов. Но в то же время после дискуссий на политические темы, с одной стороны оказались раз навсегда покорѣнные им сердца, а с другой — ошестинившиеся противники (старые народники), которые долгое ещё время после того, как «мимолётное видение» скрылось из их глаз, не могли простить ему каких-то «полемических красот» и продолжали многие и многие месяцы пережёвывать с пеною у рта какие-то сорвавшиеся с его уст крылатые словечки, воспринятые ими, как непереносное личное оскорбление по их адресу (я помню, например, их жалобы на ильичѣвскую иронию относительно «лайковых перчаток». Но почему эти лайковые перчатки больно ударили их по нервам, этого сейчас ясно вспомнить не могу, да оно и не интересно).

По приезде в Псков, я застал там в статистическом бюро следующую публику.

Во главе бюро стоял довольно известный в земских либеральных кругах и в статистическом мире Н. М. Кисляков — человек очень неглупый, хотя и без солидного образования (он вышел из крестьянской семьи и учился на медные гроши). Основной его чертой была необычайная эластичность и приспособляемость. Он был, конечно, «свой человек» (говоря это в несколько условном смысле, но без иронии). От всякой конспиративной противоправительственной работы он стоял очень далеко, и охранка к нему не могла явно придратъся, но отстаивал он интересы своего статистического бюро и своих «неблагонадѣжных» сотрудников от посягательств придирчивой жандармерии и губернской администрации очень рьяно. В этом отношении он немножко напоминал Некрасова, который шѣл на

всяческие унижительные жертвы, чтобы уберечь только от разгрома свои «Отечественные записки». За такую его черту статистическая «неблагодёжная» богема не могла не ценить его как своего ловкого защитника и охотно готова была рукоплескать его «макиавеллизму».

Но многие из нас с некоторым пренебрежением относились к нему как к человеку без определённого политического лица. Его «гуттаперчевый» ум, его любимые подходы к рассмотрению всякого вопроса «с двух точек зрения», его замысловатая эквилибристика между спорящими сторонами, его любимые формулы — «с одной стороны — да, с другой стороны — нет», «поскольку постольку» и т. п. — очень часто выводили из себя и ортодоксальных марксистов, и ярых народников, и даже умеренных либералов. А он, принимая удары и слева и справа, и в бок и в спину, как это всегда бывает со всеми соглашателями, всё-таки эту естественную для него стихию соглашательства ни за что не променял бы на красивую роль воителя, выступающего с открытым забралом и гордо объявляющего: «иду на тя».

Один только раз я видел его в несвойственном ему положении человека, требующего от окружающих с дрожью в голосе полной определённости ответа: либо да, либо нет. Это был случай какого-то его конфликта со статистиком Д. С. Ландо, когда дело у них дошло до товарищеского суда. Конфликт, в сущности говоря, яйца выеденного не стоил, и вся наша статистическая братия без всякого предварительного сговора решила взять обоих антагонистов измором: «с одной стороны, мол, прав Н. М. Кисляков, но с другой — не виноват и Д. С. Ландо»... Как ни прыгал вокруг этой «подлой» формулы бедный Н. М. Кисляков, как ни кипятился, а всё-таки это «с одной и с другой стороны» продолжало неизменно звучать как весёлая ирония судьбы над providенциальным соглашателем.

К числу совращённых Ильичём в сторону революционного марксизма (и притом бесповоротно совращённых), принадлежал псковский статистик — юрист по образованию — Александр Митрофанович Стопани, или просто «Митроныч», как мы его по-дружески называли. Впоследствии участник II партийного съезда и видный большевик¹, он отличался только одним маленьким недостат-

¹ Умер в 1933 г.

ком — некоторым тяжкодумством. И действительно, его подходы мысли к какому-нибудь вопросу, его фразы или краткие, но не очень выразительные речи вызывали иногда улыбку даже у его друзей и не всегда были для окружающей аудитории источником полного эстетического удовлетворения с точки зрения их архитектурной стройности и красоты формы. Но, конечно, это была мелочь, которая нисколько не мешала нам, его единомышленникам и ближайшим товарищам, высоко ценить его принципиальную выдержанность, его стойкость и преданность делу и его большое добродушие.

Было и ещё среди статистиков несколько человек, чьих психология и девственно-невинное мирозерцание получили сильный сдвиг влево под влиянием пропаганды Владимира Ильича. Из них впоследствии удалось организовать крупную «искровскую» организацию в Пскове.

Против псковских марксистов в оппозиции стояла группочка обломков старого народовольчества в лице, главным образом, А. А. Николаева и Д. С. Ландо. Этот последний 18-летним юнцом попал в лапы одесских жандармов, промаячил затем 11 лет в Якутске и незадолго перед описываемым моментом вернулся в Россию, хотя и не старым ещё человеком (ему было лет 30 с небольшим), но уже разбитым, одним словом «живым трупом». В нём сохранилась только повышенная революционная сентиментальность, раздражительность, но ни бодрости, ни ясного понимания картины борьбы современных направлений, ни даже того упорства в исповедании своего старого символа веры, которым отличался, например, А. А. Николаев, у него уже не замечалось. Умер он, если не ошибаюсь, в 1902 г.

Гораздо интереснее личность А. А. Николаева. В какой-то мемуарной рукописи я недавно натолкнулся на отзыв об А. А. Николаеве в период его вологодской ссылки. Автор рукописи (рабочий) превозносит А. А. Николаева за его доброту, благородство и товарищеские хорошие отношения. Я, с своей стороны, считаю своим долгом подтвердить, что Александр Андреевич представлял пример редкого, я сказал бы даже рыцарского благородства и товарищеской предупредительности. Я и сам ему очень обязан и очень признателен за его гостеприимство, дружескую помощь и руководство, в котором он мне не отказал по моём приезде в Псков. Кроме того, он был вы-

сококультурным и интересным в интеллектуальном отношении человеком. Начитанный, автор многих переводов с иностранных языков, он был недурным, возвышающимся до художественной красоты слова оратором. А всё-таки... всё-таки это был тоже «живой труп». То старое, чем он когда-то дышал и жил и что окрыляло его молодую душу, уже умерло. А он сам не пожелал эволюционировать в своём окостеневшем мировоззрении (или, лучше сказать, не мог уже прекратить той инерции, которая раскачала его, так сказать, интеллектуальную массу в определённом направлении). И вот, в результате из него получился, в конце концов, жёлчный человек, с хронически больным самолюбием, ушедший в свою раковину и предавший анафеме новые ростки жизни. «Назад, несчастные, к Михайловскому!» — продолжал он ещё изредка, с искажённым от боли и злобы лицом, взывать к новому революционному поколению, в то время как оно давно уже «ликвидировало» Михайловского и стало обставлять свой умственный мир «по Марксу и Энгельсу».

Была среди псковичей (в недрах всё той же статистики) и своя марксистскообразная либеральная оппозиция, представленная умеренным и аккуратным Лопатыным, который сверху вниз смотрел на «отсталого чудака» Николаева и сам пробавлялся крохами мыслей со стола модернизированных буржуазных идеологов вроде Кусковой и Прокоповича. Имелись, наконец, и неопределившиеся ещё элементы, как, например, интереснейший, сотканный из эстетических движений кристаллически прозрачной души, человек не от мира сего — Ипполит Александрович Сабанеев. Сильный и интересный ум его я сравнил бы с великолепной логической машиной. Тонкий логический анализ, замечательное остроумие по части нащупывания софистических шалостей мысли, строгое мышление по всем правилам силлогистических модусов — всё это было прекрасно и подчас очень остроумно и красиво; но этот анархически-бессодержательный, абстрактно-метафизический, не отражающий диалектики жизни ум при всей огромной своей искренности был так же бесплоден, как библейская смоковница, так же мало утоляя духовную жажду, как и морская, на вид столь аппетитная вода.

Как видит читатель, наш псковский микрокосм, подобно капле воды, отображающей весь мир, в миниатюре представлял полную картину тогдашнего растекания рус-

ской интеллигентской мысли по многочисленным речкам и ручейкам, озёрам и болотным низинам.

А если прибавить к этому, что скоро Псков пополнится новыми пришельцами, для которых питерский «климат» оказался «вреден», — в том числе мой старый приятель и единомышленник Пётр Ананьевич Красиков, известный Александр Васильевич Пешехонов, пресловутый «с позволения сказать марксист» Л. Клейнборт, чистоплутенький и джентльменистый Михаил Вильямович Беренштам (из новой, передовой адвокатской молодёжи), фанатичный рабочемысленец, но по натуре романтик и художник (автор известных картин — социальной пирамиды, крушения самодержавия, в виде тонущей лодки и других) Николай Николаевич Лохов, — то, если хотите, получается такой уже переизбыток фигур, который является положительно излишним с точки зрения композиции картины. Никакой Гончаров или Достоевский не справился бы с таким обилием персонажей даже в 5-томном романе.

Время, о котором сейчас идёт речь, было очень интересное. Хотя стачечная рабочая волна 90-х годов пошла на убыль, но всколыхнувшееся, благодаря ей, стоячее болото русской политической жизни продолжало волноваться.

Пролетариат в своём классовом самоопределении рос не по дням, а по часам. Показателем и важнейшим фактором этого роста являлась бывшая живым ключом революционно-марксистская мысль на страницах регулярно выходившей и проникавшей в Россию сквозь всяческие полицейские рогатки знаменитой «Искры» (периода 1901—1903 гг.). Студенчество более, чем когда-либо, нервно реагировало на мертвящую политику своих академических центров, шумело, «требовало», действовало «скопом», отвечало на репрессии забастовками и демонстрациями, накалялось докрасна, а в случае чего, то и оглушало всю официальную Россию выстрелом из револьвера. В ответ на отдачу 200 человек студентов в солдаты раздался выстрел Карповича, убивший мракобеса — министра Боголепова, после чего молодёжь с большим чувством на своих собраниях распевала:

Радуйтесь, честные правды поборники,
Близок желанный конец...
Дрогнуло царство жандармов и дворников:
Умер великий подлец.

Вместе с классовым самоопределением рабочих шёл процесс расслоения и размежевания революционной и оппозиционной интеллигенции. Социал-демократы резко отмежёвывались от народничества и от либералов; революционные народники, немного модернизированные, спешно нащупывали для себя новые идеологические и организационные формы для партийной сплочённости (в воздухе уже носилось эсерство), либералы, в свою очередь, флиртуя с правыми элементами революционных организаций, мечтали о том, чтобы благоприобрести свою партийную физиономию «совсем, как у людей», и т. д. и т. д.

Псков был в описываемое время типичнейшей ареной такого рода борьбы и интеллигентской шумихи,— гораздо более типичной, чем даже Петербург или Москва. Во-первых, в этих больших городах центр тяжести революционного движения лежал не в интеллигентских говорильнях, а на фабриках и заводах, а также в рабочих кварталах. Во-вторых, там очень исправно действовала охранная машина, которая загоняла «болезнь» внутрь и не позволяла ей вываться наружу,— на поверхность общественной жизни. Что же касается маленького мещанского городка Пскова, где никаких фабрик и заводов не было, то, играя для департамента полиции роль свалочного места при очистке Петербурга от политически неблагонадёжных элементов, он свыше всякой меры переполнялся этими элементами, так что местной жандармерии с её неусовершенствованным аппаратом поневоле приходилось безнадежно махать рукой и придерживаться мудрого правила: *laissez faire, laissez passer*, т. е., иначе говоря, «не стесняйтесь, господа! жарьте себе всюю!»

В самом начале мы, марксисты, вели себя довольно скромненько. Нам было невыгодно запугивать порозовевшую обывательщину. Для наших революционных целей нужны были средства, адреса, квартиры. «Передовая» интеллигенция требовала сплочения фронта против общего врага, «альянса» всех недовольных существующим порядком вещей, и мы на такой «альянс» пошли: «сорганизовались», самообложились членскими взносами и т. д. Но лишь только в недрах этой «lose» организации выросла и окрепла группа друзей «Искры», раскол стал неизбежен, и наступило время, когда в организации сами собою стали возникать острые конфликты и очередные скандалы главным образом на почве признания гегемонии за тем видом

демократии, который наилучшим образом выражает интересы всех оппозиционных элементов России и которому должна послужить верой и правдой и наша общедемократическая псковская организация хотя бы, например, своим общественным кошельком.

Нечего и говорить, что мы, искровцы, очень энергично отстаивали гегемонию именно социал-демократии с выразительницей её интересов — «Искрой». С нами упорно не соглашались остальные. Одни (Николаев и К⁰) настаивали на том, чтобы «по-честному» делить наши «симпатии», т. е., иначе говоря, кассу между народниками и социал-демократией. Другие (например, Лопатин) всё время тыкали пальцем в либерально-марксистскую оппозицию, которая, дескать, чужда крайностей и выражает «среднюю линию». Третьи, наконец, предлагали всем сойтись на «красном кресте», как на самой нейтральной почве.

Вслед за организационно-уставными спорами воспоследовали принципиальные разногласия. При этом роли распределялись таким образом: «искровцы» нападали и всех «обижали», а остальные жаловались на засилье «искровцев», плакались, проклинали, и в конце концов отрясали прах от ног своих.

Застрельщиком среди «искровцев» был незаменимый в этой роли П. А. Красиков.

О, как он ненавистен был всем противоискровским «союзникам», когда, бывало, берёт себе слово: из-под высоко приподнятых бровей холодно, насмешливо глядит в упор на очередную «умучаемую» жертву пара серовато-зелёных, с оттенком «чалдонской» дерзости глаз. Большой лоб, обрамлённый мелкими кудряшками, собран в складки и угрожает какими-то зародившимися под черепом этого лба сюрпризами злой мысли. Иронические губы кривятся под кокетливо-закрученными усиками, а маленькая бородёнка вперёд à la Мефистофель тоже как будто нагло смеётся. Не только его речи, но и весь его вид действует на нервы жертв его остроумия раздражающим образом: и эти дерзкие глаза, и это худощавое, чуть-чуть нервно подёргивающееся лицо, и этот характерный для нашего *enfant terrible* костюм — оригинальнейшая смесь претенциозного щегольства и живописных аксессуаров горьковской картины «Дна» (например, бархатный жилет и модный, цветов радуги, галстук в комбинации с выдавшей на своём веку виды «визиткой»).

Я помню, например, тот вечер, когда мы провожали прощальным обедом Н. Н. Лохова, уезжавшего за границу.

Проводы носили очень уж торжественный характер. Николай Николаевич был сам коренной пскович, и у него, конечно, имелась масса знакомых в Пскове. Устроители прощального обеда не сочли нужным делать слишком строгий отбор гостей, так что наряду с социал-демократами за одним столом сидели и народники и просто либеральные «привески», вроде, например, шустрой дамочки Г., которая целью своей жизни поставила создать у себя политический салон для псковских представителей «3-го сословия» на манер m-me Ролан или m-me де Сталь в Париже XVIII века.

И вот, во время застольных речей, носивших очень мирный характер душевных пожеланий дорогому отъезжающему гостю не забывать в счастливой Италии своего родного серенького неба и убогих мужицких хат стонущей под пятою насильников несчастной страны, слово берёт П. А. Красиков.

Все насторожились в ожидании «сюрприза».

— Я пришёл сюда, — начал свою речь П. А., — в том предположении, что мы проведем в товарищеской беседе последний вечер с Николаем Николаевичем Лоховым, моим единомышленником, социал-демократом-марксистом, с которым если у меня и бывали иногда разногласия, то во всяком случае, так сказать, pro domo sua — не подлежащие критическому осмотру посторонней обывательской толпы. Но кого я здесь вижу вокруг себя?.. Торчат представители старого, сданного уже в архив, мировоззрения (кивок в сторону Николаева), которым ничего другого сейчас не остаётся и делать, как только по-старчески сердито брюзжать на новое революционное поколение: «да, мол, были люди в наше время... э-эх, богатыри, не вы...» Вижу ещё обывательницу-домовладелицу (кивок в сторону псковской m-me Ролан), которая, надеюсь, свою девственно-невинную душу ещё не запрдала марксистской нечистой силе...

Невообразимый шум, рёв, крики протеста заглушают речь оратора. Я дёргаю за рукав своего неистового союзника, который, впрочем, не обращает никакого внимания на мои попытки привести его к порядку и чувствует себя сейчас, как рыба в воде. Несчастный Николай Николаевич

Лохов сидит, как ошпаренный кипятком, низко-низко опустив голову, с кислым выражением лица.

Но извольте-ка судить и приговаривать к расстрелу этого скандалиста, когда он, в конце концов, всё-таки успевает ловким манёвром речи овладеть вниманием окружающего общества и блестяще затем, в мирных теоретических тонах, развивает те принципы, под углом зрения которых, по его мнению, нужно рассматривать современные группировки среди оппозиционной интеллигенции. Николаев, который незадолго перед этим с побледневшим лицом готов был на какие угодно эксцессы, теперь уже не прочь поспорить. Его тонкая, изящная ирония извивается, как молния во время грозы. Ему рукоплещут. Но и Пётр Ананьевич не из тех, которые лезут за словом в карман. А кроме того, за Красиковым ещё преимущество марксистски выдержанного метода мышления... Всех захватывает этот спор, и обед проходит не под знаком плоских застольных речей, а в оживлённой и интересной дискуссии на злободневную тему.

А вот позвольте уже рассказать кстати и ещё один эпизод.

Мы все на началах «альянса» встречаем большой компанией Новый год. В программе вечера стоит чтение Давидом Самойловичем Ландо какого-то сочинённого им очерка или рассказа. Рассказ этот, хотя и в неявной форме, но для всех совершенно очевидно, носит характер автобиографии и повествует о злоключениях и разочарованиях юноши, оторванного от родной семьи грубой полицейской рукой на заре своей ранней молодости и брошенного затем на долгие-долгие годы в холодные тундры Сибири. Голос чтеца дрожит от волнения, и в нём слышатся слёзы. Мы, слушатели, опускаем глаза в знак своего деликатного сочувствия.

Автор прочёл последнее слово и захлопнул тетрадь. Водворилось молчание, свидетельствующее об угрюмой подавленности людей, перед умственным взором которых только что развернулась драма несчастной человеческой жизни.

Слово берёт П. А. Красиков.

— Выслушав прелестный юмористический рассказ Давида Самойловича, где фигурирует какой-то пижон, который хнычет и проливает слёзы в жилет...

И опять скандал, опять шум, опять крики негодования...

— Во-первых, этот рассказ не юмористический, — делает сердито внушительное замечание оратору председатель Лопатин, — а, во-вторых, я решительно протестую против таких неуместных выражений, как «пижон» и т. п.

— Почему так? — наивничает Красиков.

Но, в конце концов, и на этот раз он завладевает вниманием публики и заставляет разговор принять характер страстной, но не опускающейся на личную почву с теоретических высот полемики о принципиальных расхождениях во взглядах представителей разных течений общественной мысли.

С приездом в Псков А. В. Пешехонова — умного, дипломатичного барина из «Русского богатства» — местом для наших постоянных сборищ стала его квартира. У него был особый день для журфиксов, когда каждый из нас мог притти выпить стакан вкусного кофе, съесть пару бутербродов и всласть наговориться. Пешехонов — корректный, сдержанный и ловкий полемист (не чета в этом отношении слишком темпераментному Николаеву) — сильно подкрепил позицию псковских народников, что заставило и меня, и Красикова, и других наших единомышленников подтянуться и получше вооружиться, выступая против многочисленных и качественно далеко не слабеньких противников.

Впрочем, гораздо было бы сильнее для противоположного лагеря, если бы с этой стороны выступал один только Пешехонов. Семинарист по образованию, он, однако, сделался одним из столпов группировавшегося около «Русского богатства» народничества. Впоследствии — создатель новой партии (правда, мертворождённой) народных социалистов или, короче, «энэсовцев» и один из министров Временного правительства, в описываемое время он был известен только как талантливый публицист народнического журнала. Для нас он был опасным противником в качестве хорошего статистика, который всегда мог подкрепить свои доводы ссылками на какие-то цифры из русской статистики, для критического осмотра которых требовалась бо́льшая компетентность в этой области, чем какой мы могли похвалиться. Но нас выручало всегда то обстоятельство, что Пешехонову приходилось выступать лидером очень разношёрстной публики, объединённой одним только негативным признаком — недоброжелательством к тому самому «искровству», которое, мол, претендует,

подобно тощей фараоновой корове, на поглощение всех остальных «жирных» демократических коров.

Для нас, «искровцев», до такой степени было выгодно выступать без сомнительных «союзников», что мы очень охотно, например, уступили своим противникам в их полную и безраздельную собственность такую «теоретическую силу», как хамелеонообразный и бесконечно болтливый «марксист» Л. Клейнборт. Благодаря этой нашей уступчивости вышло то, что мы, таким образом, подложили Пешехонову и К⁰ «свинью в огород»...

В общем же и целом наша тактика сводилась к тому, чтобы собирать в один прелестный букет все перлы премудрости многопостасного и многогранного противника,— букет из дипломатических экивоков и недомолвок Пешехонова, из народнических заклинаний Николаева, из эклектической похлёбки Клейнборта, из блудливых поползновений Лопатина примазаться к модному марксизму с правой стороны и т. д. и т. д.,— всех их сталкивать между собою лбами, побивать одного словами другого и выводить из факта этого их «единства во многообразии» соответствующую мораль.

В качестве приза мы получали иногда новых неофитов «искровства», готовых не за страх, а за совесть поддерживать наше дело.

Но прежде чем я укажу на характер и содержание нашей специфически-искровской работы, скажу несколько слов о некоторых наших попытках найти общую почву для практических выступлений с окружающей нас «демократической» оппозицией.

Мы, «искровцы», уже очень хорошо усвоили ту истину, что «коммунисты поддерживают всякое революционное и оппозиционное движение», что социал-демократия должна вмешиваться в борьбу мелкобуржуазной демократии, подталкивать её и становиться её авангардом и т. д. и т. д. Но вот беда-то в чём: в Пскове у нас не только пролетариата, но и мещанской демократии, сколько-нибудь способной к протесту, нет и в помине... Есть кучка поднадзорных или «неблагонадёжных» интеллигентов, о которой сказано выше, по улицам фланируют десятки опальных студентов, лихо распевающих на своих вечеринках «Дубинушку» и «Нагаечку», но настоящего субъекта борьбы, демократической толпы на псковской сцене не видно.

И всё-таки «положение обязывает». И в этом отноше-

нии мы во что бы то ни стало должны выявить свою социал-демократическую природу и своё искровское лицо. Хотя бы и среди «неблагонадёжной» интеллигенции, но какие-то признаки протеста всё же наблюдаются. Мы не можем стоять в стороне от этих новых, назревающих на наших глазах явлений. Мы должны идти и туда.

И вот, по «молодости» лет мы, представители самой серьёзной революционной линии, начинаем авантюрить. По крайней мере я помню один яркий пример такой благоглупости, о которой не хотелось бы, признаться сказать, и вспоминать здесь, на этих страницах, но в интересах правды умолчать не могу.

Разные провинциальные театральные сцены (а впрочем, кажется, и столичные) стала обходить какая-то сострепанная Суворовым грязная антисемитская пьеска «Сыны Израиля» или, как её потом переименовали, «Контрабандисты».

Постановка пьесы в различных городах вызвала среди местной передовой интеллигенции реакцию протеста, но антрепренёры, повидимому, только радовались этому обстоятельству и спекулировали на нём. В ожидании «скандала» публика валом валила на дрянненькую пьесу и с бою разбирала билеты у театральной кассы. Появился анонс и у нас в Пскове: тогда-то, там-то будет представлена драма «Контрабандисты»...

Псковская «демократия» заволновалась. Вот оно, когда, наконец, запахло порохом... Становись все в ряды! Горнист, труби в призывный рожок! Инициативу «кампаний» взял на себя Пешехонов (наши псковские растерявшиеся «искровцы» поплелись в хвосте у «демократии»). Был принят его план — идти на представление пьесы всей нашей воинствующей ватагой и там освистать пьесу («искровцы» не догадались противопоставить этому «плану» какое-нибудь более отвечающее их революционному достоинству средство борьбы с блудливой черносотенной спекуляцией: например, выступить с печатным — на гектографе или как-нибудь иначе — обращением к публике, указав ей на политическую непристойность пьесы и на предосудительность посещения её представлений сколько-нибудь уважающими себя гражданами).

В результате получился глупейший фарс. Публики в театре набилось видимо-невидимо. Все готовились с жадным вниманием встретить... не игру на сцене, а «интерес-

ное представление» в партере. Персонажи этого «представления» были уже все наготове. С одной стороны — Пешехонов, Красиков, Лепешинский, Стопани, Николаев, Лопатин, Кисляков и вся прочая компания, а с другой — целая армия молодцов в полицейской и штатской форме.

«Скандал» произошёл. Раздался свисток... За ним другой, третий... Кто-то из публики крикнул: пожар!.. Началась паника, смятение... Помнится, я, сидевший «по плану» в первых рядах и долженствовавший по плану же держать речь к толпе, вскарабкался на стул и, стараясь перекрыть царивший кругом адский шум, взывал во всю мощь своих лёгких: «Граждане, внимание, одну минуту внимания!» На Стопани наслало с полдюжины переодетых городских, пытавшихся лишить его «свободы передвижений и свободы действий»... Полицейские направо и налево хватали то того, то другого за шиворот... О чём-то распинается, кричит актёришка со сцены... Женщины визжат, мужчины ревут и ругаются... Одним словом, «демонстрация» удалась.

В результате — громкое, сенсационное дело в камере мирового судьи (а затем и в мировом съезде). «Демократия» сочла за благо считать свою «политическую» роль в этом эпизоде исчерпанной и перешла на позицию обычной юридической самозащиты... Беренштам, который оказался не замешанным в скандале, взялся представлять на суде наши интересы, и, конечно, местная обвинительная власть побледнела и стушевалась перед такого рода бойкими на язык столичными «штучками» как Пешехонов, Беренштам и др. Помню, на допросах Пешехонов всё время приводил в растерянное состояние судью:

— Позвольте вас спросить, свидетель,— обращается, например, он к какому-нибудь бравому молодцу, свидетелю со стороны обвинения.— Вот я сейчас вас вижу блондином... а не были ли вы тогда, в театре, брюнетом?

В публике смех. Судья сердито ёрзает на стуле и начинает «предупреждать» об очищении зала в случае повторения нарушения тишины.

Все мы, несмотря на всё усердие местной прокуратуры, были оправданы, за исключением, кажется, Бутковского, который всерьёз принял цель демонстрации и открыто признал факт протеста с своей стороны против возмутительной погромной пьесы (за что и посидел по приговору месяц под арестом), и Стопани, который, будучи сам при-

частен к адвокатуры, решил пустить в ход свои собственные, весьма оригинальные приёмы самозащиты.

— Что же, свидетель, вы, может быть, скажете, что я вас бил и в грудь и в спину,— провоцирует он какого-то огромного детину, у которого в плечах косая сажень, имея в виду использовать логический приём, известный под именем *deductio ad absurdum*.

Детина, поморгав немножко глазами, поддаётся на провокацию.

— Знамо, бил!..

— Прошу занести это в протокол,— торжествует «Митроныч».— А может быть, свидетель, я вас повалил наземь и топтал ногами?..

— Ну, что ж... и это было... топтал,— не смущается наглец.

— Прошу занести и это в протокол,— ещё более торжествует наш юрист. Таким образом, в протоколе набралась такая масса «уличающих» несчастного «преступника» показаний, что ему уже никак не удалось отвертеться от высылки в течение нескольких деньков в каталажку.

Так позорно кончился наш псковский «революционный» дебют.

Я добросовестно информировал «Искру» о всякого рода революционных выступлениях в России, о которых мне удавалось что-либо определённое узнавать. Но тут,— приношу задним числом покаянную перед Надеждой Константиновной,— посылая ей вскоре после «Контрабандистов» за границу очередное письмо, я о нашей псковской демонстрации — ни гу-гу, ни бум-бум... Стыдно было!..

Я уже раньше сказал, что в нашей «общедемократической» псковской организации раскол и размежевание стали неминуемы. И неизбежное свершилось. На каком-то из собраний мы, искровцы, воспротивились предложению ввести в нашу организацию нового члена, относительно прошлого которого у нас не было достаточно положительных сведений и который лично не производил на нас благоприятного впечатления. Остальные члены кружка резко поставили вопрос о причинах нашего недоверия к политической порядочности рекомендуемого некоторыми членами организации нового кандидата. Пришлось пояснять, что мы не в игрушки играем, а идём по нелегальному пути. В таких случаях люди всегда соблюдают осторожность и помнят правило «*memento mori*» (помни о смерти).

Через две минуты после этих роковых слов мы, искровцы, в количестве 11 или 12 человек сразу вдруг осиротели. Наши попутчики отряхли прах от ног своих и покинули нас.

Никто из нас не оказался подавленным этой демонстрацией. Огненные искровская группа, избавившись от мелкобуржуазных привесков, могла самоопределяться в своей социал-демократической работе.

Но и эта дюжина всё же представляла из себя ещё организацию довольно широкую, так сказать, наполовину «lose»... Она добросовестно, чем могла, обслуживала «искровство» — собирала для «Искры» сведения, выколачивала для неё из буржуазных кошельков деньги, помогала припрятывать наезжавших в Псков конспиративных искровских работников и т. д. Для более серьёзной и ответственной работы не все единицы этой дюжины были одинаково пригодны. Из общего числа выделилось ядро более близко стоящих к искровской политике работников, которые не спешили посвящать и приобщать к этому делу остальных. Так, например, об образовании в Пскове ОК (Организационного комитета по созыву II съезда) знали только, кроме меня и жены, ещё, быть может, Стопани, а остальные в это дело не были посвящены. Впрочем, об этом моменте (зарождения ОК) я скажу несколько слов потом; а сейчас попробую охарактеризовать нашу будничную работу по обслуживанию «Искры».

К нам часто заглядывали в Псков приезжавшие из-за границы товарищи. Так, например, был у нас в гостях даже один из знаменитой искровской шестёрки — Старовер (Александр Николаевич Потресов). В течение суток, которые он провёл у меня конспиративно в квартире, он рассказывал нам многое о том, что делается там, в нашей заграничной лаборатории социал-демократической мысли. А самое-то главное, он ввёл нас в курс тех вопросов, которые до него для нас не были вполне ясны: что это ещё за новость в искровской аграрной программе — отрезки?.. Как рисуется подробнее план организации автору статьи «С чего начать?»... Какие сейчас имеются группировки за границей и каковы отношения «Искры» к ним?.. И т. д. и т. д.

С своей стороны я добросовестно старался выполнить свою роль информатора заграницы. Для нас, агентов «Искры», у Надежды Константиновны имелось миллион сто тысяч заграничных адресов — и на Женеву, и на

Нюрнберг, и на Брюссель, и на Штутгарт, и на Цюрих и т. д. Все мы были связаны с нею своими особыми условленными шифрами (по системе, конечно, не постоянных знаков для букв, как у Эдгара По в рассказе «Золотой жук», а переменных).

В «почтовом ящике» «Искры» каждый из нас мог получить весточку. Например, «2а 3б. Ваше письмо от такого-то числа получено», — это значит, что отправленное мною послание, дошло благополучно. Отсутствие такой весточки заставляло насторожиться и менять на всякий случай адрес посылаемой корреспонденции.

Письмо писалось обыкновенно таким образом: открытый текст письма носил самый что ни на есть обывательский характер. Между строк писалось «химией», т. е. составом, который проявлялся на бумаге при подогревании её над лампой. Если не было под рукой сложного состава, можно было писать простым раствором соли, молоком или лимонной кислотой. Приготовленное таким образом письмо опускалось в почтовый ящик проходящего поезда (и ни в каком случае не в городе). Может быть, благодаря этой предосторожности мои письма доходили сравнительно благополучно и не подвергались, повидимому, провалу и перлюстрации. Но если охранка овладевала секретом какого-нибудь заграничного адреса, то она уже старалась не выпустить кончика нитки из своих рук. Найдя как-нибудь ключ к шифру, она легко могла при перемене адреса или шифра расшифровать то письмо, где говорится о новом адресе или шифре, и таким образом получить нужные ей сведения для дальнейшей работы в том же направлении. И вот у неё накапливалась в конце концов масса данных, которые помогали ей разобраться в путанице неясных для неё псевдонимов, всевозможных кличек и условных выражений. Так, именно, случилось с московской искровской группой в 1902 г.: целый ряд последовательных писем из Москвы за границу от «Наташи» и писем из-за границы от «Кати» к «Наташе» перлюстрировался и доставлялся в охранку. Иногда авторы писем чувствовали неблагополучие адресов и пытались переменить и адреса и шифры на новые, но, как я уже сказал, это не помогало. Охранка сейчас же узнавала эти перемены и продолжала своё наблюдение с прежним успехом.

Трудное и кропотливое было это дело — писать зашифрованные корреспонденции; оно страшно надоедало, так

что иногда подмывало воспользоваться не конспиративным, а легальным адресом для сообщения каких-нибудь новостей под таким соусом, чтобы жандармское внимание, в случае вскрытия письма, было усыплено ультраблагонамеренным тоном письма. У моей жены сохранился образчик одного из таких писем, которые я ей посылал из Пскова в бытность её за границей (в 1902 г.), в Лозанне. Вот характерная выдержка из этого письма: «У нас новостей из жизни общественной пока что никаких. Здесь одна из девиц выпущена на свободу, и перед ней, говорят, извинялись — «недоразумение», мол, вышло. Ходит слух, что в Вильне праздновалось 1-е мая, и всех буянов перепролили, причём потеха такая! — у каждого казнимого спрашивали: «сколько тебе лет?» — 25,— отвечает. Ему всыпают 25 розг. Городовые и дворники садятся ему на голову и на ноги (говорят ещё, что при этой операции играла роль какая-то доска, которую клали на ноги, но как это, я не представляю себе) и дерут. И отлично, по-моему, делают, потому не бунтуй. Какого в самом деле чорта им надо!.. Спасибо фон Валью — энергичный человек. Были ещё демонстрации в Сморгони и Ковне. В этом последнем прохвосты успели поднадуть полицию: она ожидала демонстрацию 18 апреля и была наготове, а они учинили скандал позже. Благодаря этому им удалось с полчаса продемонстрировать, причём перед домом губернаторским шельмецы пели революционные песни и пр. В Питере же, славу богу, всё тихо»...

Может быть, эта «индейская хитрость» покажется читателю слишком уж примитивной. Но факт всё-таки тот, что такого рода письма благополучно доходили по назначению и играли как никак, а некоторую роль информационного материала для редакции «Искры».

Не очень существенное значение имел Псков в смысле изыскания средств для искровских нужд. Наши собственные отчисления были грошовыми, а денежных, сочувствующих «Искре» тузов под боком не было. В этом отношении благополучнее были Петербург или Москва, где нет-нет, да и подвернётся вдруг такая счастливая комбинация, когда в одном и том же индивидууме окажутся налицо и такой плюс, как недурно набитый кредитками бумажник, и с другой стороны — уважительное отношение к такому архиреволюционному органу, как «Искра».

У нас в Пскове находились тоже своего рода друзья

«Искры», которых бессознательно тянуло к нам. Таков, например, был А. И. Жиглевич, молодой человек из зажиточной купеческой семьи, который вовсе не имел в виду принять революционную «схиму» à la Войнаральский и отказываться от своего буржуазного благополучия, но которого почему-то тянуло на искровский огонёк, как бабочку на пламя свечи, и который охотно вытаскивал из своего бумажника десятирублёвки для «Искры». В меру возможностей мы его, конечно, и «стригли».

Гораздо более существенную услугу Псков оказывал по выполнению функции транспорта «Искры», «Зари» и прочих нелегальных искровских изданий. К сожалению, как оказывается, об этом хорошо были осведомлены и жандармы. Вот что пишет в своей записке охранка от 14 ноября 1902 г. начальнику спб. губернского жандармского управления:

«После ликвидации в декабре минувшего года в СПб и Вильне... главных тогда руководителей подпольного революционного сообщества «Искры», деятельность названной организации на время приостановилась; но уже в конце февраля текущего года совершенно агентурным путём были получены указания, что оставшиеся на свободе члены вновь пытаются организовать и восстановить прерванные ликвидацией связи как в СПб, так и во многих других центральных пунктах империи. Согласно этих указаний главными организаторами вновь формирующейся группы явились: некий «Аркадий» он же «брат директора», путешествующий по империи в качестве уполномоченного от заграничного комитета группы «Искры»¹ и постоянно проживающий в Пскове статистик местной земской управы отст. губ. секр. Пантелеймон Николаевич Лепешинский, уже отбывший наказание в Вост. Сибири по делам организации Союза Борьбы за Осв. раб. класса в 1895 г. В отношении последнего имелись определённые указания, что он заведует транспортировкой подпольных изданий «Искры»».

Тут много жандармского преувеличения и, в частности, относительно будто бы заведывания мною делом транспортировки подпольных изданий «Искры» (я только ведал транспортом постольку, поскольку он попадал в сферу влияния Пскова). Но всё-таки совершенно справедливо то, что этим делом мне приходилось серьёзно зани-

¹ «Аркадий» — И. И. Радченко.

маться. Не всегда оно ограничивалось простым актом принятия из рук в руки какого-нибудь чемодана с драгоценным двойным дном, доставленного в Псков. Очень часто приходилось выручать литературу, застрявшую где-нибудь далеко от нас. Помню, например, как однажды до меня доходит известие, что ехавшая из-за границы девушка довезла чемодан до Выборга, но через финляндскую границу не решилась переходить, бросила чемодан «на хранение» на вокзале и сама сбежала.

Нечего делать, выручать чемодан едет моя жена. Приезжает в Выборг, забирает драгоценную находку и айда скорее домой. Но беда в том, что чемодан совершенно пустой, и только фунтов 30 «папиросной» литературы, заклеенной в стенки и в двойное дно чемодана, делает его достаточно полновесным. Закупить какого-нибудь белья или дамского тряпья, чтобы при вскрытии чемодана жандармами или таможенным чиновником на финляндской границе он не представлял странного зрелища пустоты, на это у жены не хватает денег. Тут она догадывается закупить выборгских кренделей. Немножко, конечно, чудной багаж, а всё-таки багаж... Вот и граница. Подходит и к ней для осмотра жандарм... Момент критический... Вся цель обладательницы чемодана в том, чтобы жандарм не вздумал сам с этим чемоданом возиться, что угрожало привлечь его внимание к необычайной тяжести чемодана, не оправдываемой его видимым содержанием. Поэтому она, с беспечным видом жуя в качестве «любительницы» выборгского печенья кусок кренделя, очень любезно, размашистым жестом спешит сама открыть чемодан и небрежно бросает:

— Ничего особенного, как видите, кроме кренделей...

Осмотрщик с четверть минуты стоит над чемоданом с тупым взором, как будто что-то соображая... Ужасных, полных драматизма четверть минуты... Потом машет рукой и идёт к следующему пассажиру.

Зато сколько радости было при возвращении жены из опасного путешествия. Перед её и моим восхищённым взором оказалась такая кипа номеров «Искры» и «Зари», что трудно себе было даже представить, как это всё могло втиснуться в стенки и дно одного чемодана, жалкие растерзанные остатки которого тут же валялись на полу.



В РАЗГАРЕ РАБОТЫ. СНОВА ТЮРЬМА И ССЫЛКА

(2-я половина 1902 и 1903 гг.)

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий...

Из Тредьяковского

Летом 1902 г. я побывал за границей — в Лозанне, откуда привёз свою жену, с большими лёгкими, для поправки здоровья в родном краю, где по крайней мере ей не приходилось систематически голодать.

По приезде в Псков я принялся усердно наезжать в Петербург, где у нас была поставлена на очередь задача — сделать петербургский комитет искровским. Но отколовшаяся от комитета «Рабочая организация», руководимая группой лиц, которая была в родстве и с экономистами рабочемысленного толка и с полуанархической «Свободой» Надеждина (в рабочей организации тон задавали Токарев, Полубояринов, Хмелевский, который впоследствии перешёл в искровскую организацию, рабочий «Ваня» и ряд других лиц), составила упорную оппозицию политике искровцев. Главную роль в деле приобщения петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» к общеискровской организации играл И. И. Радченко. Он всё время вёл переговоры с рядом ответственных работников, стоявших в центре питерского комитета (с д-ром В. П. Краснухой, Е. Д. Стасовой и др.). Летом соглашение между «Петербургским союзом» и искровцами состоялось. Но «Рабочая организация» (т. е. Токарев и К⁰), поддерживаемая «Свободой», не признала этого соглашения (мотив тот, что не были, дескать, опрошены все члены организации, а вопрос решён постановлением одних только центральных групп союза, и комитет был не в пол-

ном составе). Начался разлад, а потом и процесс «размежевания». Рядовые члены организации, рабочие, долгое время не могли разобраться, в чём дело, из-за чего споры и на чьей стороне правда. Они были ещё не в курсе вопросов, как их ставила «Искра», выдвинувшая лозунг объединения всех партийных организаций в России под знаком повышения уровня классового сознания пролетариата до широкой постановки вопроса о его политической борьбе за «конечные цели», т. е. о его социал-демократической политике. Они поэтому ещё плохо разбирались в демагогии рабочемысленцев и надеждинцев, подсовывавших рабочим выхолощенные в революционном отношении лозунги «чисто рабочей» политики, подсказанной, дескать, «стихийным» классовым устремлением рабочей массы по линии «возможных» форм борьбы (т. е., с одной стороны, тред-юнионизмом, а с другой — «эксцитативного» террора). Они ещё склонны были прислушиваться к сладким речам демагогов из «Рабочей организации» о «преступном» подавлении самостоятельности рабочих масс постановлениями и решениями сверху, из «центров», декретируемыми, а не проводимыми путём демократических форм выявления воли масс. Их умственный взор ещё не возвышался над организационным кустарничеством, и привычными для них формами рабочего движения продолжали ещё быть изолированные выступления и пошевеливания отдельных рабочих групп, которые дальше больших вопросов своей фабрики, своей мастерской, своего маленького трудового муравейника не шли и при господствовавшей тогда практике социал-демократической работы и не могли идти.

Само собой разумеется, что для борьбы с такого рода малосознательностью рабочих, на почве которой только и мог расцвести всякого рода интеллигентский оппортунизм (во главе «Рабочей организации» стояли, главным образом, представители интеллигенции и при этом той её разновидности, мещанская природа которой мешала вышедшему из её недр «рабочелюбцу» додуматься до подлинно революционных социал-демократических принципов), — для этой борьбы требовалась мобилизация большого количества искровских сил. Пришлось и мне взять свою долю работы в этом деле.

Тщательно конспирируя свои наезды в Петербург, я пробирался в указанное мне место какой-нибудь петер-

бургской трущобы, где находил на конспиративной квартире группу главарей рабочих человек в 10—15. Поднимались горячие споры. Шла война не на жизнь, а на смерть между искровством и оппортунистами. Но без похвалы скажу, что победа, в конце концов, обыкновенно оставалась за искровцами, которые благодаря вышедшему незадолго перед этим ленинскому «Что делать?» — а без него искровцы не делали ни шагу — были гораздо лучше вооружены, чем их противники. Судя по своему собственному опыту, я должен сказать, что если, в конце концов, искровство победило и в Петербурге, и в Москве, и в других центрах революционного движения, так это только потому, что в руках искровских агитаторов было «Что делать?», делавшее для них ясными все софизмы, всю путаную фразеологию, всю подоплёку идеологических хитросплетений и рабочемысленцев, и последователей «Свободы», и «борьбистов», и учеников таких новых пророков, как Мартынов, Кричевский и К^о. Благодаря ленинской книжке у нас на все возражения, на все sacramентальные словечки наших противников, на все их хлесткие фразы, якобы «по Марксу и Энгельсу», был уже готов ясный ответ, и это сильно действовало на рабочих, внушая им к искровству большое уважение. Не механическими средствами искровство «подавляло» самобытность некоторых архаических русских комитетов, а исключительно силою своего идейного влияния, и тысячу раз прав Ленин, говоря в одном конспиративном письме московским товарищам, что действующие в России практики «досконально знают», что «командование» «Искры» не идет дальше советов и высказывания своего мнения...»¹.

Я с своей стороны ещё раз могу подтвердить, что мы, русские практики, воспитанные на идеях «Что делать?», охваченные радостным сознанием несокрушимости нашей искровской позиции, чувствуя огромный аппетит на идейную завоевательную работу среди рабочих масс, вооружённые благодаря «Что делать?» аргументами с ног до головы, не нуждались в каких-нибудь механических воздействиях и внешних понуканиях. И мы заражали своей убедительностью и своей верою в торжество наших идей и рабочих, тянувшихся к нам с тем же любопытством и с той же робкой надеждой найти искомое тепло, с какими

¹ В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 186.

иззябший путник в поле ночью идёт на приветливый огонёк разгоревшегося костра.

Из петербургских рабочих, с которыми мне пришлось в описываемый момент иметь беседы, я назову только одного, наиболее мне импонировавшего своей речистостью рабочего И. И. Егорова («Фому»). К его голосу остальные рабочие охотно прислушивались, и сделать его своим союзником было очень важно.

Осенью 1902 г. дела «Искры» шли настолько хорошо, что даже чиновник особых поручений Ратаев сообщает 27 октября (9 ноября) 1902 г. директору департамента полиции, что «по получаемым искровцами сведениям настроение в России весьма оживлённое, и дела партии идут великолепно».

И действительно, все крупные комитеты (и Петербург, и Москва, и юг) были уже искровскими. Совершенно наизреп вопрос о формальном объединении партии.

Как известно, Центральный Комитет партии, избранный на съезде в 1898 г. в Минске, вскоре же после съезда был разгромлен жандармами. Партия в организационном отношении снова представляла из себя социал-демократическую пыль. Этот кризис партии (не только организационный, но и идейный) начинает мало-помалу изживаться благодаря упорной и систематической работе «Искры» по фактическому сплочению партии вокруг выдвинутых ею тактических и организационных лозунгов. Но мысль об организационной спайке всех частей партии уже в 1902 г. носилась в воздухе. Первые проявили инициативу в этом отношении (я сказал бы — поторопились проявить) Заграничный союз и Бунд, вовсе не расположенные лить воду на мельничное колесо «Искры». Был задуман весенний «съезд» в Белостоке. «Искра» ограничилась посылкой на этот съезд своего представителя, но отнеслась более чем холодно к инициативе рабочихладельцев и Бунда. Съезд не удался (за неявкой большинства приглашённых на него делегатов) и конституировался как конференция. Но из недр этого съезда вышел Организационный комитет по созыву II съезда. Однако члены конференции сейчас же после разъезда с неё были арестованы (уцелел один лишь Краснуха) и Организационный комитет был фактически разбит.

К осени 1902 г. совершенно созрела мысль о созыве новой конференции и о выборе нового Организацион-

ного комитета. Эта вторая конференция имела место в начале ноября (2—3 ноября) в Пскове, но о ней так мало имеется сведений, она до такой степени была прозёвана и жандармами, что свидетельских показаний о ней не осталось почти нигде: ни в охранке, ни у историков российской социал-демократии. Поэтому на моей обязанности лежит поделиться с читателем тем, что я знаю, или что сохранила память об этом событии, сыгравшем известную роль в деле объединения нашей партии.

Я уже сказал, что Бунд (вкуче с такими союзниками, как рабочедельцы) конкурировал с «Искрой» по части захвата инициативы по объединению партийных элементов. Фактическая гегемония «Искры» не давала спать ни бундовцам, необычайно боявшимся за судьбу своей «более ранней, более зрелой и совершенно самостоятельной» организации, ни представителям различных претенциозных литературных группочек, которые не без основания опасались, что объединение партии под знаком «Искры» будет означать растворение их в партийной массе.

Поэтому приверженцы «Искры» в России получили задание: не нарушая принципа преемственной связи с белостокской конференцией, взять в свои руки инициативу по созыву новой конференции и по выбору нового ОК. Сказано — сделано. «Аркадий» (он же «Касьян», т. е. И. И. Радченко) объезжает ряд нужных мест в России и договаривается о времени и месте созыва конференции из представителей тех же организаций, которые были представлены и на белостокской конференции.

Конференция состоялась у меня на квартире — в Пскове. От петербургского комитета, как на белостокской конференции, снова был В. П. Краснуха, от «Искры» — И. И. Радченко, от группы «Южного рабочего» — Левин (фигурировавший потом на II съезде партии под фамилией Егорова), от Бунда приглашённый представитель не явился, но остальные собравшиеся вовсе не были настроены приходить в отчаяние по этому поводу и твёрдо решили конференцию считать законно состоявшейся. Благодаря отсутствию «оппозиции» (представитель Бунда непременно тормозил бы дело на каждом шагу) конференция в один день покончила со всеми главнейшими вопросами. С правом совещательного голоса на конференции присутствовали я и Красиков. О принятых на конференции решениях гласит один лишь единственный

документ, до сих пор ещё нигде не опубликованный,— это именно черновик моего письма, заготовленный для того, чтобы его зашифровать и послать письмо за границу. Во время обыска у меня в ночь на 4 ноября (после разъезда конференции) этот черновик я не успел уничтожить, и он был отобран у меня жандармами. Подлинника мне не удалось отыскать в петербургском архиве (вероятно подлинное дело об И. И. Радченко, обо мне и других искровцах, «ликвидированных» 4 ноября 1902 г., погибло во время пожара охранки, произведённого охранниками в 1917 г.), но копию с него я отыскал. Приведу это письмо полностью. «Ольга (т. е. конференция.— П. Л.) конституировалась по инициативе Питера из трёх (от Питера Гр., от «И» Касьян и от Юрия...) ¹, потому что приглашённый Борис (т. е. бундовец.— П. Л.) почему-то не явился; зато тем легче было принять некоторые решения и кооперироваться (очевидно, в подлиннике было слово кооптироваться, но охранники очень плохо разобрали его.— П. Л.) своими людьми. Ольга, кроме упомянутых лиц, состоит ещё из Клера, Курца (отныне Ге), Шпильки (Игната), Ст. (Сёмка) и Лаптя (отныне Вар) ². Из решений главные — следующие. Составлено заявление о рождении Ольги. Под ним предложено будет подписаться Борису, и затем оно подлежит опубликованию. С Борисом разговоры, как предполагается, будут носить утончённо вежливый характер, лишь бы соблюсти некоторый *contenance* и лишить возможности господ оппозиционеров лишнего повода для обструкции. ОК признал за собою право, будучи фактическим выразителем объединённых групп И.П.б.Гр.С.С. и т. д. (очевидно, «Искры», Петербурга, Южных групп, Северного союза и т. д.—

¹ От Питера Гр., т. е. «Гражданин», кличка Краснухи; от «Искры» — Касьян, т. е. И. И. Радченко, и от Юрия, т. е. от «Южного рабочего», — Левин.

² Здесь уже под Ольгой разумеется новый ОК, в который вошли ещё Г. М. Кржижановский («Клер»), Ф. В. Ленгник («Курц»), П. А. Красиков («Шпилька»), П. Лепешинский («Лапотъ»). Что же касается клички т. Сёмка, то т. Стопани в своём письме в «Пролетарскую революцию» (№ 6) «К вопросу о составе ОК 1902 г.» разъясняет: «Не помню, чтобы в ОК был «Сёмка», но был автор настоящей заметки (т. е. А. М. Стопани.— П. Л.) под кличкой «Семён», делегированный в ОК группой «Северного рабочего союза». Я же принимал участие в псковских заседаниях ОК, затем одновременно с арестами большинства российских членов ОК подвергся обыску и надзору».

П. Л.) издавать за своей подписью листки, исходящие из той или другой организации или лиц, и прошедшие редакционную инстанцию, главным представителем которой является Ю. Гр. (т. е. Южная группа.— П. Л.), плюс те лица, которые по условиям места и времени могут к ним примкнуть. Затем рассмотрен вопрос об организации транспорта. Главная забота об этом возложена на Касьяна, который организовал уже группу Каролины и намеревается в самом ближайшем будущем свидеться с заграничной группой. Попутно решены вопросы и о способах распространения литературы, а также о получении за неё всеобщих меновых эквивалентов. Затем решено, что ОК предлагает всем сочувствующим его усилиям комитетам самообщаться (вероятно плохо разобрано охранниками слово «самооблагаться».— П. Л.), в его пользу. Решено также, что Ольга (т. е. ОК.— П. Л.) не только будет фактически исходить от тех начал, которые положены И. (т. е. «Искрой».— П. Л.), но и открыто признавать своё родство с ней. В случае же протеста Бориса — не особенно церемониться с ним. Что же касается других вопросов, как, например, вопроса о порядке дня на будущем съезде и пр., то таковые отложены до следующего собрания, когда выяснится позиция Бориса (и), когда от вас придёт подкрепление в виде обстоятельного проекта».

В дальнейших комментариях этот документ, ясный сам по себе, не нуждается.

Трое из участников съезда и членов нового ОК — И. И. Радченко, В. П. Краснуха и я — скоро были арестованы (я и Радченко — на другой же день после окончания конференции).

Представитель от «Южного рабочего» и Красилов успели благополучно разъехаться, да и Краснуха был арестован где-то на ст. Елизаветино у себя на даче. Эти аресты не были связаны с конференцией, как таковой, и есть полное основание думать, что для охраны так-таки и остался невыясненным характер искровского совещания. Повидимому, и впоследствии жандармы путались в гипотезах, предполагая, что в Пскове было совещание искровских групп в связи с объединением рабочих организаций Петербурга.

Но выслежены были — я и Радченко — довольно основательно. Мы и не подозревали, что уже давно мы оба

попали в поле зрения охраны, которая долгое время путалась с установлением личности «Аркадия» (он же «Шуваловский» и «брат директора»), пока, наконец, не напала на след этого неуловимого вездесущего агента «Искры», получив на этот счёт первоначальное указание от некоего Курятникова, с которым Радченко сносился в Шувалове, давая ему мелкие поручения, и укрепившись потом в своей догадке благодаря заграничным перлюстрируемым письмам от «Кати». Что же касается меня, то моя скромная персона очень интриговала жандармов и губернскую администрацию с самого начала моего появления в Пскове, но специальную слежку за мной учинили лишь с лета 1902 г., приславши для этой цели из Петербурга в Псков двух филёров. Филёры следят за мной шаг за шагом и ведут подробнейшие дневники. Следует удивляться поэтому не тому, что сейчас же после конференции я и некоторые другие участники её были изъяты из обращения, а тому, что нам удалось при наличии вышеуказанной слежки так законспирировать нашу конференцию, что она, как таковая, была положительно прозёвана охранкой. Но как бы то ни было, выслеженное жандармами «преступное сообщество» искровцев было «ликвидировано» в ночь с 3 на 4 ноября.

После ареста в Пскове 4 ноября я был отвезён в Петербург и снова увидел себя в знакомой уже мне обстановке одиночного заключения. Старые надзиратели «предварилки» сразу же узнали меня и, можно сказать, по-приятельски приветствовали моё возвращение. Я тоже дружески улыбался старым знакомым и поспешил устроиться у себя «на квартире», т. е. в своём каменном мешке, с наибольшим комфортом: выписал себе письменные принадлежности, потребовал книг для чтения, сразу же стал входить в общение с соседями-узниками посредством перестукивания направо и налево и т. д.

Вскоре, впрочем, этому моему благополучию был положен предел. Как-то в один прекрасный день мне предлагают забрать свои вещи, усаживают в карету и куда-то везут... «Куда это?» — спрашиваю. Отвечают: «Не знаем».

Когда карета стала проезжать через длинный Троицкий мост, я тотчас же сообразил, какова цель нашего путешествия, и сердце у меня тоскливо заныло.

Въезжаем в один двор, едем мимо Петропавловского собора, проезжаем через какой-то другой двор (монетный,

как я потом узнал), наконец карета втискивается в какой-то третий дворик и останавливается перед входом в стене. Меня быстро проводят через вход внутрь здания, и я попадаю в тускло освещённую керосиновой лампочкой какую-то грязную комнату, где очень накурено и где на скамейках сидят в ленивой позе жандармы.

Получаю приказ раздеться догола. Пробую протестовать. Но на меня вскидываются такие изумлённые глаза и так внушительно произносится: «ну, ну... тут у нас без разговоров...», что я, растерявшись от неожиданности положения, молча подчиняюсь требованиям. Меня тщательно осматривают, заглядывают проницательным взором во все закоулки моего тела (в том числе и в рот) и затем приказывают одеться в казённое бельё. Рубашка, кальсоны, носки, туфли, а в качестве верхней одежды халат из рыжевато-зелёного сукна, напоминающий поповский подрясник,— и вот я готов. Я совлék с себя оболочку ветхого человека и стал новым существом, схороненным за толстыми двойными или тройными стенами от мира живых людей.

Я не могу похвастаться тем, что познал последние круги того Дантова ада, который именуется Петропавловской крепостью. Меня бросили не в знаменитую могилу живых ещё людей — так называемый Алексеевский равелин (кажется, он в то время уже и не существовал), а только лишь в Трубецкой бастион. Но и в этом «месте злачнем, месте упокойнем» было достаточно тоскливо.

Представьте себе двухэтажное здание, расположенное замкнутым пятиугольным кольцом. Внутри здания — небольшой дворик, имеющий в диаметре саженей 12—15. По периферии дворика — дорожка для прогулок. Внутри его расположено небольшое деревянное строение — баня. Несколько торчащих деревьев придают дворику вид сада. К внутренней стене здания идут по двум этажам коридоры. К внешней стене примыкают камеры, которые по сравнению с клетушками «предварилки» кажутся просторными залами. 10 или 11 шагов в длину, 6 шагов в ширину — это даёт площадь пола, в 3—4 раза превышающую площадь предварилкинских камер.

Но этот простор не вызывает в душе положительной эмоции. Дело в том, что окно в этой большой сравнительно комнате такого типа по форме и величине, как и в «пред-

варилке», с той только разницей, что амбразуры здесь глубже (ширина стен около 2 аршин), а кроме того эти окна упираются в непосредственно следующую за бастионом (на расстоянии аршин четырёх) высокую крепостную стену. Благодаря этому обстоятельству нижние, вечно полутёмные, камеры напоминали сырые подвальные помещения или погреба. Редкий из узников выживал в них несколько месяцев, не получивши чахотку и не расстроивши окончательно своего здоровья. Что же касается верхних камер, в одну из которых попал и я, то здесь (речь идёт о зимних месяцах) свету проникает совершенно недостаточно для того, чтобы можно было читать, и только в течение не более часа около полудня удавалось разбирать печатные строки книги.

Попробовал было я выстукивать в стены, но потому ли, что соседние камеры были пусты или я не успел приспособиться к акустическим особенностям бастиона, но только никакого ответа на мои приглашения к разговору ниоткуда не последовало, а угроза наказания карцером не замедлила быть непосредственной реакцией на эти попытки заставить заговорить окружавшие меня толстые каменные стены.

Я порешил, что те бытовые явления, которые присущи подлинной «стране свободы» — милой моей «предварилке», здесь не могут иметь места, и навсегда оставил мысль об общении посредством перестукивания с остальными пленниками. Но, как выяснилось впоследствии, я просто в этом отношении не был достаточно счастлив. Вообще же говоря, перестукивание в Петропавловке практиковалось, но с соблюдением известной осторожности.

Вокруг меня водворилась основательная тишина. Через толстые каменные стены не доносится ни единого звука от шумных улиц большого города. На попытки заговорить с надзирателем и всегда сопровождающим его при входе в камеру жандармом получается всё один и тот же короткий ответ: «разговаривать не полагается». Я вижу этих людей с каменными лицами раз 5 в день: когда они приносят мне моё верхнее платье для выхода на прогулку, когда появляются с обедом или ужином, когда дают кипяток и когда выдают две свечи на ночь (свечи обязательно должны гореть всю ночь). И, если не считать прогулку в течение 15 минут, визит тюремщиков в мою камеру является единственным для меня развлечением.

Самым красочным моментом из моих дневных переживаний была, пожалуй, прогулка. Приятно было на четверть часа надеть свою собственную одежду и получить таким образом маленькую иллюзию возвращения к своему нормальному «человеческому» существованию. Приятно было отдыхать глазами от зрелища мрачных стен камеры и радостно вскидывать их вверх, взглядывать в небо, хотя и сумрачное, а всё-таки настоящее небо,— с его облаками, с туманными далями, с его «тучками небесными, вечными странниками»... Не хотелось отрывать глаз и от белой снежной пелены, покрывающей сад, и от кисейно-ажурных заиндевелых веток деревьев. Чу... бьют куранты... Но эти специфические звуки Петропавловской крепости вспугивают вспорхнувшую было на свободу мысль и только лишь болезненно заставляют сжиматься сердце...

Я сказал, что прогулка и появление тюремщиков в камере составляют самые яркие моменты из моих впечатлений на фоне могильной тишины и однообразия тюремной жизни. «Как так,— спросит, вероятно, читатель,— а книги? а бумага, перо и чернила,— разве это не спасительные средства переживать тяжесть тюремного одиночного заключения, разве это не истинные друзья всякого узника?»

Вот в том-то и штука, что этих благ я был долгое время лишён. Когда я потребовал себе книг из библиотеки, мне сказали, что я могу получить только евангелие.

Я запротестовал и гордо отказался. Потребовал выдачи письменных принадлежностей — посулили через некоторое время, если буду хорошо себя вести, дать грифельную доску и грифель. Я опять зашумел и стал заявлять, что на такой режим моего согласия нет и что я буду тревожить жалобами высшее начальство. В ответ на это мне было заявлено, что я не получу и грифельной доски. Самолюбие не позволяло мне «китти в Каноссу» и просить комендатуру сменить по отношению ко мне гнев на милость. Наоборот, я всё более проникался протестантским настроением. По понедельникам и четвергам на полчаса выдавались чернила и перо, а также почтовый листик бумаги для написания письма к родным на волю, но при условии, что в письме автор ни единым звуком не заикнётся о месте своего настоящего пребывания и об условиях жизни в этом месте. Почему-то я редко мог

угодить придирчивой крепостной цензуре своими письмами к жене, где всегда с точки зрения этой цензуры было что-либо нарушающее правила дозволенной корреспонденции, и мои письма из-за одной какой-нибудь фразки не посылались по адресу. Я в бешеной злобе бегал по камере, как раненый зверь, и следующим очередным для посылки корреспонденции днём пользовался для того, чтобы совершенно уже сознательно и нарочито сострять письмо, номинально адресованное к моей жене, а по существу направленное по адресу моих мучителей: я язвил и издевался над ними, прикрываясь какой-нибудь иронической формой почтения к ним, я писал с таким же сладострастным злорадством, с каким Курбский сочинял свои письма Ивану Грозному.

Но всё это только ещё более ухудшало мои отношения с комендатурой крепости и угрожало мне полной изоляцией от всего дорогого мне, что оставалось там, за крепостной непроницаемой стеной.

А тут ещё в довершение всего я стал прихварывать. Настроение было более чем невесёлое. Чтобы чем-нибудь занять свой ум, я, на своё несчастье, стал возиться с решением математических проблемок. Я сказал — «на своё несчастье», ибо никакого орудия письма у меня не было. Помню, задался я каким-то вопросом по дифференциальному исчислению. Фантазии не хватало в уме проделать какое-то сложное преобразование от начала до конца, а между тем отказаться от непосильной для себя задачи я уже не мог. Она гвоздём засела в моём мозгу, и вытряхнуть её из своей головы мне никакими усилиями не удавалось. Я положительно стал уже опасаться какой-нибудь катастрофы: или кровоизлияния в мозг или сумасшествия...

Так прошло несколько мучительных дней.

Выручила меня счастливая мысль. Я обратил внимание на большое количество жёлтой, обёрточного типа бумаги, которая имелась в камере не на предмет, конечно, использования её для письменных целей.

Возник вопрос, отчего бы мне не раздобыть в дополнение к этой предпосылке письма и всё остальное, что для такого дела требуется.

А раз возник вопрос (это самый трудный момент в назревающем психологическом процессе), то удовлетворительный ответ на него появляется как-то очень уже

просто, как результат возбуждённого гения человеческой изобретательности.

Из огарка стеариновой свечи я сделал себе чернильницу, выдолбив в нём углубление. Из другого огарка у меня получилась крышка к моей чернильнице, так что всё это в общем и целом имело вид куска недогоревшей свечки, на котором никогда не остановится подозрительный взор тюремщиков.

В ближайший день для писем я получаю из конторы флакончик с чернилами и ручку с пером. Отливаю дрожащей от радостного волнения рукой чернила в свою стеариновую чернильницу и вынимаю из ручки перо.

Звоню и при появлении жандарма голосом, полным отчаяния и раздражения, говорю.

— Дайте, пожалуйста, новое перо... Вы мне дали чорт знает что за перо... Совершенно не пишет...

— А где же,— забеспокоился жандарм,— старое перо?... Его нужно вернуть...

— Да я его швырнул к чертовой матери... Где-то тут... И я начинаю шарить по полу, отыскивая перо.

Жандарму надоедает ждать, и он, совершенно не подозревая какой-нибудь хитрости с моей стороны (для чего, мол, заключённому может понадобиться старое перо, если у него нет ни чернил, ни бумаги?!), обещает мне принести новое перо не взамен старого.

Таким образом, я сделался обладателем столь желанных письменных принадлежностей.

Днём писать было рискованно. Но зато ни один любовник, которому назначено любовное свидание ночью, не ждал приближения её с таким волнением, с таким нетерпением, как я, счастливый обладатель и пера (вставочку для него легко было скрутить из бумаги) и чернил, ожидал наступления ночной поры. Глубокой ночью, когда сами тюремщики успокаивались, я предавался оргии вожделения пером по бумаге. Свою математическую проблему я разрешил скоро и окончательно успокоился. Но мне всё ещё не хотелось расставаться с моим драгоценным орудием письма. Я писал стихи, рисовал злые карикатуры на моего врага, помощника коменданта крепости, словом, не жалел ни бумаги, ни чернил.

Насытив таким образом эту свою потребность, я поспешил уничтожить через ватерклозетную раковину испи-

санную мною бумагу и затем заснул таким счастливым, крепким сном, каким не спал уже давно.

Прошло три месяца моего пребывания в крепости. Жена, обеспокоенная состоянием моего здоровья, решила со свойственной ей экспансивностью действовать напролом.

Расскажу нижеследующий эпизод с её слов. Явившись к директору департамента полиции Лопухину на приём, она получила от какой-то бородатой полицейской крысы предупреждение, что Лопухин её не примет. По окружающим унылым фигурам нескольких десятков просителей, с безнадёжным отчаянием зачем-то ещё торчавших в приёмной, она поняла, что полицейская крыса в своём прогнозе более чем права. Она зашпорила и обнаружила намерение приблизиться к двери директора, но какой-то околоток грубо загородил ей дорогу.

Вдруг... совершается что-то совсем невероятное. Сильным толчком маленькой женской руки полицейский гигант отбрасывается в сторону и не успевает опомниться от изумления, как уже обладательница этой дерзкой руки влетает с шумом в кабинет Лопухина.

У того был в это время посетитель — харьковский губернатор Оболенский, на которого недавно было произведено покушение. И хозяин и гость в испуге вскакивают с кресел и ждут по меньшей мере взрыва бомбы. Вскочившие в кабинет полицейские набрасываются на мою жену, но та уже успевает отрапортовать:

— Господин директор, я мирная просительница... Они ни за что не хотели меня пустить к вам. Прикажете им прежде всего не хватать меня за руки...

— Успокойтесь, успокойтесь, сударыня,— залепетал Лопухин, довольный тем, что его драгоценная жизнь не подвергается опасности от анархической бомбы.— Если вам нужно со мной поговорить, то через 10 минут я буду к вашим услугам...

— А эти.. церберы... меня не задержат?..

— Я же вам говорю, что через 10 минут буду к вашим услугам...

Жена вышла за двери кабинета.

— Стыдно, сударыня,— прошипел пристав-бородач.

«Сударыня» в ответ на это задорно выкрикнула слово «молчать!».

Через 10 минут она, действительно, получила доступ к Лопухину и успела натараторить ему с три короба насчёт того, что её муж, дескать, сидит в крепости совершенно больной и обречён на медленное, но верное умирание; что необходима посылка к нему в крепость комиссии из медицинских знаменитостей, которых она сама берётся немедленно подыскать, и т. д. и т. д.

Лопухин поспешил с обещанием перевести её мужа обратно в «предварилку», и через несколько дней я был вновь водворён на Шпалерную...

Летом 1903 г. наша «предварилка» была переполнена политическими до краёв. Аресты эсеров дали большой процент анархических элементов среди населения «предварилки». Сразу почувствовалось чрезвычайно нервное, беспокойное, повышенное настроение. Посредством перестукивания все камеры стала обходить анкета с опросом мнения каждого политического заключённого относительно уместности объявления голодовки. Я решительно высказался против этой нелепой авантюры: почему понадобилось прибегать к этому «последнему средству»? Что такое случилось особенного, ведущего к такому катастрофическому исходу?..

К сожалению, мой голос оказался гласом вопиющего в пустыне, и голодовка была объявлена.

Нечего делать, пришлось присоединиться к голодающим, чтобы не прослыть презренным шкурником.

Любопытно, что голодовка была объявлена сначала без всякой мотивировки. И только уже потом голодающие стали договариваться о выработке своих требований, которые все сводились к радикальному изменению традиционного режима в Доме предварительного заключения.

Наступил психологический момент выхода пленников из рамок какого бы то ни было подчинения тюремным правилам. Начальство съежилось и ступсывалось. Триста человек политической тюрьмы в Петербурге, обрекшие себя на голодовку, ничего уже не боялись. Все окна были разбиты, а иногда даже первые рамы выставлены. Целые дни «предварилка» поёт революционные песни и митингует. Со всех концов из-за решёток светятся горящие огнём глаза.

— Товарищи-и-и... — слышится истерический голос из одного окна, — мы должны доказать нашим палачам, нашим тюремщикам...

— Товарищи,— надсаживается кто-то из другого окна.— Перед нами сейчас стоит более важный вопрос, чем наш тюремный... Вся Россия представляет сплошную тюрьму...

— Товарищи! бросим эту нелепую затею... Давайте лучше сохраним наши силы для действительной, а не донкихотской, борьбы вместе с рабочим классом за пределами этой тюрьмы...

— Долой его!.. Это шпион говорит... Не слушайте его, товарищи...

Так стоголосая «предварилка» весь день переключается и орёт во всю мочь своих индивидуальных глоток.

Вечером наступает сравнительное успокоение. Перезнакомившиеся между собой граждане нашей свободной республики очень хорошо изучили вокальные таланты нескольких мастеров по части пения и требуют выполнения излюбленных номеров.

— Товарищ NN, подходите к окну и спойте из «Фауста». NN прелестным, сочным, почти оперным баритоном поёт из «Фауста», потом из «Гугенотов», потом из «Кармен». Затем образуется дуэт, наконец трио... Кто-то предлагает зажарить «Славное море, священный Байкал»... Кто-то настаивает на «Дубинушке»...

И вот на дне огромного колодца, окружённого шестиэтажными казарменного типа стенами, падают гармонические аккорды подхваченной сотнями голосов песни:

Не про радость, про горе там пели...

Рыдает вибрирующий голос певца. И этот голос подымает со дна души какие-то смешанные эмоции — и тоски, и радостного чувства победы этой души над всепошляющими буднями жизни, и поэтического переживания отошедших вдаль грёз красной юности.

Гей, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт, да и ухнем,—

ликует «предварилка», как бы празднуя свой реванш над тюремными замками и тёмными карцерами.

Успокоенная и убаюканная звуками песен, «предварилка», наконец, утихает и засыпает. Но уже в 8 часов утра чей-нибудь зычный голос будит остальных:

— С до-о-брым утром, то-вари-и-щи-ы...

«Предварилка» просыпается, и начинается та же программа дня.

Испытывал ли я сильные мучения голода?

Пожалуй, если хотите, и да и нет. По крайней мере, первые два дня отсутствия пищи и воды болезненно отзывались где-то под ложечкой. Но потом желудок приспособился к новому для него состоянию, и только возрастающая слабость говорила о том, что обмен веществ в организме идёт за счёт сгорания прежних запасов жира и тканей.

Прошло так дней 5 или 6. Всё говорило о том, что мы приближаемся к какой-то ликвидации ненормального положения дел. Растерявшееся было на первых порах начальство потом стало приходить в себя и начало принимать какие-то меры. Более ярые агитаторы стали незаметно исчезать один за другим из своих камер. Часть из них была увезена в Кресты, а часть засажена в карцер. Голодающая «предварилка» заволновалась. Наступил вечер — единственный в своём роде, который я никогда во всю свою жизнь не забуду до последних его подробностей.

Экстренный митинг начался с информации о положении дел. Было доложено о том, что несколько товарищей упрятано в карцер. Говорилось даже, что их били и истязали. Протестующая «предварилка» потребовала для немедленного объяснения смотрителя тюрьмы, но на эти требования тюремное начальство отвечало трусливым молчанием.

Тогда началась Вальпургиева ночь.

Представьте себе, как триста глоток испускают одновременно нечеловеческие вопли:

— Га-а-а... га-а-а... га-а-а-а...

Триста пар рук колотят в это время металлическими тарелками о железные прутья оконных решёток.

Но вот волна криков спадает. Люди, что называется, прекричались...

— Товарищи, — вызывает кто-то, — не позволим нагло издеваться над собою!..

И снова истерическое, исступлённое га-а-а-а-а-а...

Наконец, чью-то сумасшедшую голову осенила гениально-счастливая мысль: бросать с верхних этажей горящую бумагу в места кладки сухих берёзовых дров. Дождём полетели огненные языки вниз. Это обстоятельство заставило тюремное начальство вызвать пожарную команду...

А неумолкаемое га-а-а-а... под аккомпанемент ударов тарелками о железо решёток продолжает сотрясать никогда не видевшие ничего подобного стены суровой тюрьмы.

Сколько таких было истерических взрывов адского завывания,— не знаю. Быть может, 20, быть может, больше.

И два и три часа ночи, а «предварилка» не успокаивается. Правда, паузы делаются всё длительнее и длительнее, но к прекращению концерта знака никто не подаёт.

Наоборот, кто-то, тоже осенённый, можно сказать, счастливой идеей, приглашает последовать его совету:

— Товарищи,— кричит он,— уже светает... не расходитесь спать, потому что скоро проснутся уголовные и к нам присоединятся поддержать наш протест...

Тут я не выдержал и сколько было сил заорал так, чтобы было слышно во всех уголках «предварилки»:

— Опомнитесь, товарищи, и не делайте этого безумного шага... Мы можем распоряжаться своей собственной судьбою, но не в праве провоцировать чуждые нам элементы расхлёбывать затеянную нами историю... Если тюремщики церемонятся ещё с нами, то поверьте, в камере уголовных, при первых же признаках бунта, начнут делать своё страшное дело солдатский штык, пуля и свирепая нагайка... Умоляю вас, товарищи, оставьте уголовных в покое...

Кто-то крикнул «долой шпиона, царского приспешника!». Но тут меня поддержал И. И. Егоров (Фома), петербургский рабочий, о котором я поминал выше. К его привычному голосу публика за «дни свободы» успела уже привыкнуть, и он как будто пользовался как митинговый оратор некоторым успехом в «предварилке».

То ли и в самом деле совет оказался для остальных достаточно убедительным, то ли у всех наступила, наконец, благотельная реакция, но так или иначе «предварилка» сразу успокоилась, и лозунг «спать, спать» стал властно-стихийным для безумно-утомлённых нервов.

На другой день я проснулся поздно. Что за диво? Полнейшая тишина кругом... Я подошёл к окну и попытался прокричать доброе утро товарищам, чего раньше никогда не делал. Ни малейшей реакции со стороны тех окон, откуда ещё вчера несло так много шума.

В форточку высунулась морда надзирателя и язвительно заметила: разговаривать и кричать по тюремным правилам не полагается.

«Итак, ликвидация», — подумал я.

Скоро ко мне явился сам тюремный смотритель в орденх с прочими тюремными чинами (один из самых паршивых моментов в моей жизни) и торжественно, как бы читая манифест, чуть ли не от имени министра или градоначальника, хорошенько уже не помню, выразил мне благодарность за мою вчерашнюю благоразумную речь, имевшую своим последствием успокоение бунтарей.

Я разнервничался и раскипятился.

— Скажите тем, кто прислал вас сюда, — почти со слезами в голосе отвечал я, — что моя речь вовсе не имела целью способствовать водворению тюремной тишины и порядка. Судьба уголовных меня действительно вчера обеспокоила, но в наказание за это получить такой сюрприз, как благодарность палачей — о, это уж слишком... И чтобы доказать вам, что я вовсе не такой уже «благодарный», как вам это кажется, я наперёд объявляю, что каждое утро и каждый вечер буду из окна приветствовать товарищей по заключению.

Изумлённые тюремщики ушли.

А я сдержал своё слово. Каждое следующее утро я выкрикивал среди царившей кругом гробовой тишины: «с добрым утром, товарищи!», и каждый вечер посылал в мёртвое пространство: «покойной ночи, товарищи!». Никто не отзывался на мой привет, да и не мудрено. Всех наиболее активных участников бунта рано утром после адской ночи увезли в Кресты, где кажется произошло основательное избивание привезённых пленников, не желавших сразу успокоиться, а остальные, неактивные элементы нашего «восстания», стали тише воды, ниже травы.

Пробовали было меня посадить в карцер (правда, с некоторым конфузом — ведь как-никак, а после «благодарности» это как-то не того... немножко было странно), но я после карцера свои утренние и вечерние демонстрации неукоснительно продолжал.

На меня махнули рукою и оставили в покое.

Голодовка после бунта окончилась. Правда, формального объявления об окончании её после разгрома протестантов не последовало в самый день разгрома, а лишь через сутки. Но жена поспешила передать мне в камеру

куриного бульона, молока и бутылку вина. Я протестовал против внесения этой снеди надзирателями в мою камеру, но они очень язвительно заметили мне, что если я не захочу притрагиваться к яствам, то это от меня зависит, а девать им эти приношения некуда.

При такой постановке вопроса я вынужден был гордо замолчать. И мне, таким образом, предстояло ещё сутки не притрагиваться к этому бульону, от которого так вкусно пахло, к тому молоку, которое так удивительно, так божественно аппетитно выглядывало из кувшинчика, и к тому вину, от глотка которого так хорошо, так приятно разлилось бы по уставшему организму чувство жизни.

Через неделю мне объявили, что я высылаюсь в Енисейскую губернию впредь до приговора.

На этот раз 8 месяцев оказалось достаточным, чтобы жандармы сочли дело исчерпанным.

Скоро я в целой компании таких же изгнанников, вместе с женой и дочуркою, ехал в вагоне за решёткою в Сибирь.

Не буду описывать тех демонстраций сочувствия, которые мы встречали по дороге (тогдашнее предрассветное время делало путь революционеров усеянным не только терниями, но и рсзами). Не буду описывать и те несколько месяцев, которые я провёл в Минусинском уезде и потом в Минусинске до побега. Ничего особенно яркого этот период моей жизни не представляет.



ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ. О ПЛЕХАНОВЕ. МОИ ПЕРВЫЕ ЖЕНЕВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

(Конец 1903 и начало 1904 г.)

Его пленяло солнце юга —
Там море ласково шумит,
Но слаще северная вьюга
И больше сердцу говорит.
При слове: «Русь», бывало, встанет —
Он помнил, он любил её,
Заговоривши про неё —
До поздней ночи не устанет...

*Из стихотворения Некрасова
«Несчастные»*

Я долго колебался, проявляя позорное малодушие: бежать или не бежать... Но жена моя решительно советовала мне не ожидать беспечно приговора, который может пахнуть 8 годами далёкой Якутки, и мой побег за границу стал делом решённым.

Деньги для побега были получены от моих родных (брата и сестры). Заготовлена была руками Ольги Борисовны с помощью жавелевой воды из какого-то старого просроченного паспорта несколько подозрительного вида фальшивка для меня на имя минусинского мещанина Быкова. Куплен по случаю великолепный барашковый воротник, долженствовавший придать моему пальто «барский» вид. Приобретена лошадь, на которой посвящённый в тайну моего замысла и приятельски настроенный к нам один поселенец должен был отвезти меня на станцию железной дороги не по тракту, а по пустынной Абаканской степи.

Отъезд мой был назначен в день получения пособия. По наперёд рассчитанной программе я буду лежать в постели — загримированный под серьёзно больного, с огромными синяками под глазами, а надзиратель Кузнецов сам принесёт мне пособие и уйдёт от меня с такой же уверенностью о постигшем меня недуге, с каким евангельский Фома установил личность Христа после вложения в его раны своих перстов.

Так и случилось. По просьбе жены, заявившей в участке о моей болезни, Кузнецов явился ко мне с пособием на квартиру. В моей комнате так воняло разными лекарственными специями, мой «умирающий» вид был столь плачевен, а стоны так жалобны, что надзиратель поспешил уйти, пожелав мне от чистого сердца (растроганного, главным образом, полтиной на чай) скорейшего выздоровления.

Но лишь только он скрылся, я вскочил на ноги, смыл с лица все «симптомы» болезни и подвергся последней операции, которая имела целью сделать меня неузнаваемым: жена сбрила мне бороду и подкрутила усы. Получилась в общем и целом такая пшютовская «похабная» образина, что когда я заглянул в зеркало, то захотелось чертыхнуться и отплеваться.

В 11 часов ночи я вышел, соблюдая осторожность, из квартиры и направился в пустынную часть города, где меня ждала уже лошадь.

Первый шаг оказался неудачным: молодая необъезженная степная лошадёнка, как только её изнеженного крупы коснулся кнутик, помчала нас, не слушая вожжей, и, по иронии судьбы, наскочила с разбегу на ворота... полицейского участка. К счастью, на улице было пустынно. Никто не был свидетелем этого эпизода. И вот мы спешим выбраться из города, держа на поводу нашего рысака. Скоро обнаружилось, что на этом рысаке нам не то что 450 вёрст до железной дороги, а даже первых 30 вёрст не проехать. Пришлось наскоро менять задуманный план поездки и выбрать другой маршрут: ехать по тракту, как-нибудь добраться до ближайшей стоянки, найти конец «ниточки»¹ и затем уже мне одному пробираться на обывательских лошадях обычным путём.

Так мы и сделали. К утру кое-как добрались до деревушки в 30 верстах от Минусинска, и мой возница нашёл мне конец искомой «ниточки».

Товарищи в Минусинске наделили меня тёплой дохой, которую я надевал сверх пальто, а всё-таки 45-градусные морозы давали себя знать.

¹ Под «ниточкой» в Сибири понимают непрерывную цепь перекладных — от возчика икса к возчику игреку, которые связаны между собою на началах дружбы и общности извозного предприятия.

К счастью, сибирские тройки — один восторг. Как только впереди предстоит взбираться на горку, ямщик привстаёт на облучке, да как гикнет — и через 2—3 секунды кибитка пулею взлетает на вершину горы.

420 вёрст от Минусинска до Ачинска я проехал в течение 40 часов.

Не буду описывать моих треволнений, когда я подъезжал к ачинскому вокзалу, — не ждёт ли, мол, уже меня там, предупреждённая телеграммой, какая-нибудь жандармская образина.

В Ачинске я благополучно сел в поезд и на станции «Тайга» свернул в Томск, чтобы замести следы и выехать затем курьерским на Пензу.

Мое обострённое внимание открывало массу шпиков и в Тайге, и в Томске, но я с гордым видом ничего не боящегося буржуя проходил мимо них.

Каждый новый день пути увеличивал шансы на катастрофу. Ведь если полиция в Минусинске уже спохватилась и дала по сибирской магистрали телеграмму о задержании беглеца, то, несомненно, меня, раба божьего, изловят, несмотря на сбритую бороду и лихо подкрученные усы. Судите поэтому о моём чувстве досады, когда наш поезд, проезжая уже через Урал, вдруг застопорил: незадолго перед нами в этом месте было крушение, и для расчистки пути понадобится 10—15 часов...

Я всё с меньшей и меньшей уверенностью решаюсь высовывать нос из своего вагона. Но жрать так хочется, что, в конце концов, я вылезаю на свет божий и с необычайно гордым видом, проходя мимо жандармов, как пододбает человеку из «чистой публики», в то же время стараясь угадать по их физиономии: «знают, каналы, или не знают», пробираюсь в буфет. Но тут, вне поля жандармского зрения, гордая спесь знатного барина сразу улетучивается, и он очень скромно просит подать ему тарелочку борща за 25 коп., проглотив которую спешит убраться в своё купе.

Наконец-то наш поезд добирается до Пензы. Отсюда уже идут две ветви железной дороги, и теперь, пожалуй, ищи ветра в поле.

Поезда для проследования дальше (в Киев, где я надеялся через Кржижановского получить явку для перехода через границу) пришлось ждать 15 часов. Но не беда. Я запасаюсь билетом (уже честь-честью, III класса, как

подобает честному демократу) и, когда поезд мой пришёл,— скорёхонько чемоданчик в охапку и прыг в вагон. А вот, кстати, и место свободное...

— Э-э-э... господин хороший...— прерывает моё благодушное настроение носильщик.— Вы что же это чужое место заняли?..

— Как чужое?.. Это место никем и ничем не было занято.

— Ну да, не было занято... А узелок-то,— вы куда же его девали?

— Никакого узелка тут не было... Смею вас уверить...

— Что же сквозь землю провалился, что ли... Нет уж вы, пожалуйста, не шутите... А то ведь придётся поезд задерживать, жандармов звать...

Гм... Получается скверная история. По показаниям соседей выясняется, что здесь прошмыгнул какой-то подозрительный тип, и, кажется, он-то и прихватил узелок.

Носильщик бежит за жандармами.

Что же мне делать? Искать новое себе место? Это возбуждает лишь подозрение жандармов, которые сочтут мой уход желанием скрыться от их всевидящего ока. Я остаюсь там, где сижу. Будь, что будет.

Появляются предводительствуемые носильщиком два жандарма, а вместе с ними и собственница узелка, которая жалобно причитает:

— О-о-о-о... Там же была отцовская меховая ряса... А ещё ж и моя шубка на лисьем меху... Да подушка, да муфта, да калоши но-о-венькие...

Поезд трогается с места, и жандармы едут с нами.

Начинается составление протокола. Сначала допрашивают потерпевшую, а потом и меня, возможного похитителя её лисьей шубки и поповской рясы её отца.

— Ваше имя, отчество и фамилия?

— Иван Петрович Быков.

— Ваше сословие?

— Я... я... статистик (застигнутый этим вопросом врасплох, я не могу мгновенно взвесить, что мне выгоднее: быть ли минусинским мещанином согласно паспорту или приписать себе более привилегированное дворянское звание).

— Это ваше занятие... а ежели сословие, то это, к примеру, кто вы есть — дворянин или крестьянского сословия...

— Ну, конечно, дворянин, — с сознанием собственного «дворянского» достоинства отвечаю я, решившись сфабрикованного мне руками Ольги Борисовны паспорта лучше и не показывать.

— Откуда и куда едете?

— Из Омска в Киев.

— Адрес вашего постоянного местожительства?

— Э... э... Омск... Почтово-Телеграфная улица..., дом Иванова (ни одного названия улиц в Омске я не помнил и врал уже напрапалую).

Допрос окончен. Паспорта у меня не спросили. Поезд подошёл к станции, и жандармы ушли. А всё-таки... Всё-таки скверновато. Жандармы отрапортуют о происшествии ротмистру. А если до Пензы уже долетела телеграмма о задержании бежавшего политического преступника, то мой шикарный приезд на курьерском поезде в Пензу (те же жандармы очень внимательно, из чувства почтения, могли накануне присмотреться к моей персоне, когда я вылезал из купе в качестве «знатного иностранца») и скромный отъезд из Пензы в III классе могут навести ротмистра на подозрение.

А тут, как нарочно, соседи приступают с вопросами: как у вас там в Омске?.. Почём мука?.. Почём масло?..

Нет, непременно нужно будет переменить маршрут..

Наконец, после долгих мытарств, очутился я вместо Киева в Варшаве. Там у меня были родственники — Беньяминовы (Борис Осипович Беньяминов женатый на моей сестре). Заранее предупреждённый о моём визите (я заезжал в Брест к сестре моей жены и через неё дал знать Борису Осиповичу Беньяминову об обстоятельствах моего путешествия) этот последний занялся розыском подходящих лиц, помогающих политическим эмигрантам переправляться через границу, а пока что приютил меня на несколько дней в химической лаборатории варшавского политехника, в котором он был преподавателем химии. Всё шло уже вполне благополучно, и дня через два мне сказали, что я могу ехать в пограничный городок Бендин, где должен буду разыскать в такой-то гостинице такое-то лицо.

Через несколько дней я отправился по указанию моего бендинского покровителя в какой-то притон, где кишмя кишели контрабандисты, потребители всякого рода услуг по части переправы за границу и всевозможные вообще типы, состоявшие не в особенной дружбе с законами Рос-

сийской империи. По условленному знаку я нашёл того рыженького еврея, который должен был переправить меня через границу. Ему я передал согласно уговору 10-рублёвый червонец за услуги. Такая крупная плата (полагалось же, кажется, 5 рублей) была результатом предварительного соглашения, что меня поведут через мост, а не вброд через пограничную речку.

Как потом оказалось, на долю моего проводника из этих 10 рублей причитался один только рубль, а остальные девять рублей шли в карман предпринимателя дела. Очевидно, контрабанда и переправа через границу тоже были поставлены на широкую капиталистическую ногу.

Проводник стал во главе целой маленькой экспедиции из лиц, жаждавших в этот момент прогуляться без паспорта по ту сторону рубежа.

В два часа ночи мы двинулись в путь...

Темно, ни зги не видать, но проводник уверенно ведёт нас какими-то закоулками, огородами, оврагами по направлению к тому месту, где сияет цепь электрических огней. Это граница, через которую предстоит совершить переправу и нам.

Чем ближе мы подходим к границе, тем с большими мерами предосторожности ведёт нас наш проводник. Он перебегает от избы к избе, от кустика к кусту и внимательно изучает привычную для его кошачьих глаз тёмную даль, прежде чем дальше двинуться в путь. Вот она видна уже — та «мысленная географическая линия», за которой я почувствую себя свободным человеком. Через какие-нибудь полчаса я буду за пределами жандармской досягаемости и мою душу покинет, наконец, то подлое чувство вечного страха, под знаком которого прошли для меня три недели моего путешествия.

А там впереди — круг дорогих товарищей, родная революционная стихия, живое увлекательное дело...

Наступает ответственный момент: мы подходим к кордону у самой границы.

Уже рассветает. Проводник удваивает и утраивает осторожность. К счастью, всё тихо... Прошла из ворот женщина с вёдрами: посмотрела внимательно на нас и пошла своей дорогой. Перед нами вдруг открылась речка.

— А где же мост? — тихо спрашиваю я у проводника.

— Ничего, господин хороший... Мы на этот раз перейдём вброд.

Спорить и вздорить из-за этого обстоятельства было неуместно.

После этого раздалась его властная команда:

— Гей, приподымайте полы своих шуб и смело за мной, только не отставать!..

Тут нечего было долго раздумывать: мы чебулдыхнулись в воду. Хотя это был и декабрь месяц, но вода не оказалась ледяной. Речка имела сажен 6—7 ширины, но была неглубока. Через 2 минуты мы оказались по ту сторону границы, и наш проводник символизировал вступление наше из царства гнёта в страну свободы диким радостным криком по адресу, очевидно, часовых:

— Ну, теперь они пусть стреляют мне хоть в... (у вдохновенного оратора вырвалось неудобопроизносимое в приличном обществе словцо).

В Женеве я поспешил отправиться к Г. В. Плеханову — единственный адрес, который был мне известен ещё с тех пор, как я бывал у Плеханова во время приезда за границу летом 1902 г.

Для меня Плеханов был в то время не меньшим авторитетом и властителем моих дум, чем и В. И. Ленин. Владимира Ильича я больше знал и больше любил, но Плеханов мне казался более крупной теоретической величиной, да ещё при этом ветераном-марксистом. Если, например, читатель помнит, то и моя собственная эволюция от Михайловского к Марксу и Энгельсу началась после прочтения книжки Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю».

Когда жена моя приехала весной 1902 г. в Лозанну, она образовала там марксистский кружок из среды русских студентов и студенток лозаннского университета, а чтобы влить в него идейное содержание, она самым бесовственным образом тормозила Плеханова, вызывая его из Женевы в Лозанну для чтения рефератов. Плеханов охотно соглашался на эти приезды, лишь бы только ему были предоставлены перевозочные средства с вокзала к месту собрания и обратно. После рефератов Георгий Валентинович без всякого жеманства заходил к Ольге Борисовне выпить стакан кофе и оживлённо поболтать с кучкою своих поклонников и поклонниц на разные темы.

Я его в первый раз встретил тоже в Лозанне. Огромный лоб, чёрные густые брови, орлиный нос, орлиные гордые глаза, время от времени загорающиеся весёлым юмором... Всё это производило великолепное впечатление.

Я обращаю внимание читателя на ту черту Г. В., которая сказалась, между прочим, в его необычайной отзывчивости по части поездок в Лозанну для возни с какой-то кучкой русских политических недорослей из интеллигентской среды. Я не думаю, чтоб это были акты простого благодушия со стороны большого человека, к которому пристали маленькие взрослые дети и запели в один тон: «дяденька, навести нас, дяденька, не откажи». Быть может, и это обстоятельство имело место, а всё-таки, как мне кажется, главная суть дела не в этом. Прав я или не прав, но моя мысль идёт дальше этой внешности и ищет симптомов глубокой драмы большой жизни очень большого человека.

Я думаю, что, живя с молодых лет за границей, Плеханов в течение всего своего эмигрантского бытия — и при этом чем дальше, тем больше — таил в своей психике ту сложную болезнь, которая носит название «тоски по родине».

«Я нижеподписавшийся, тамбовский дворянин Георгий, сын Валентинов, Плеханов, сим отвечаю, а о чём — тому следуют пункты»... — так старался он ошарашить большевистскую «шпану»¹ убийственной иронией в своём письме к Лядову (не помню уже, в каком номере новой «Искры»).

— Хотя вы и смеётесь над моим Жоржем, называя его тамбовским дворянином, — говорила мне затем как-то добрейшая Роза Марковна Плеханова по поводу моих политических карикатур («Как мыши кота хоронили» и др.), — а всё-таки он действительно тамбовский дворянин и на оскорбление будет отвечать, как дворянин... вызовом

¹ В одном из своих памфлетов М. С. Ольминский («Галёрка»), бичуя барски-пренебрежительное отношение к рядовым членам партии со стороны меньшевистских лидеров, писал, что с их точки зрения партия делится на две части:

«Первая часть: их превосходительства и иже с ними.

Вторая часть: шпана, галёрка, эхо, быдло, плебс, чернь, — вообще все те члены партии, которые осмеливаются не кричать ура в честь их превосходительств» (Прим. ред.).

вашего пасквилянта на дуэль... Имейте это в виду... И передайте это вашему карикатуристу (Роза Марковна делала вид, что, разговаривая со мной, она не «подозревает» меня в такой гнусности, как рисование карикатур).

О, наивнейшая Роза Марковна! Если бы только она знала, как она грубо оскорбляла в этот момент своего боготворимого ею мужа, оберегание которого от невзгод жизни сделалось главным смыслом и главной целью её существования. Недаром же дочь Плеханова, поджидавшая за углом на Rue de Carouge мать во время объяснений этой последней со мною около нашего большевистского «Вертепа» на набережной Арвы, потом накинулась, как говорят, на неё с градом упреков.

— Мама, мама, что ты наделала! Папа тебя не поблагодарит за эту услугу... Дурак будет Лепешинский, если не выпустит после этого новую карикатуру...

А всё-таки, знаете ли, читатель, для чего я допустил это неожиданное эпизодическое отступление? Для чего я заговорил о «тамбовском дворянине»?

Да вот для того именно, чтобы позволить себе, в конце концов, дерзкую гипотезу: Плеханов действительно никогда не мог за всю свою жизнь отделаться от этого своего второго «я» — тамбовского дворянина — не в смысле, конечно, поборника дворянских идеалов, а в смысле национально-влюблённого в свою родину верного её сына.

Мне кажется, что он бесконечно тосковал не только по благам русской национальной культуры, но и по дремучим лесам России, по её рекам, вдоль берегов которых «бурлаки совершают путину», по её желтеющим нивам, по её придорожным ивам, по её плакучим берёзам, по её убогим курным хатам, по её рабочим кварталам больших городов — одним словом по всем аксессуарам картины русского ландшафта и русской жизни. Быть может, в этом отношении у Плеханова было что-то общее с другим российским «дворянином» — Н. А. Некрасовым, тем самым, который так безумно любил свою «сторону родную» с её «врачующим простором», который свой лучшие поэтические строфы посвятил описанию её природы, её тишины, её убогих храмов, её народа, с тоской неодолимой тянущегося к своему «богу угнетённых, богу скорбящих», её деревенской страды и зимних стуж, её «дворянских гнёзд», её медвежьей охоты и т. д. и т. д. — тем самым,

который много раз возвращается мыслью к вариациям на тему о том, что

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить нашей горе,
Размыкать русскую печаль.

Плеханов знал хорошо европейские языки, особенно немецкий и французский. Этим последним он владел в совершенстве, не хуже природного француза. Ничто ему не мешало ликвидировать окончательно счёты с русской территорией и до такой степени европеизироваться, чтобы развернуть свои богатые силы на работе теоретической и практической — у французской или немецкой социал-демократии. Везде он был бы принят там с распростёртыми объятиями, везде он был бы признан идейным вождем, — и тем не менее мы его видим всё время упорно цепляющимся за возможность поработать именно для убогой России, столь далёкой от него, столь недостижимой для него.

Мне рассказывал один товарищ болгарин, что, когда Плеханова навещали болгарские социал-демократы, он любил говорить им о своей России, о её природе и о том, какая она «и убогая, и обильная»...

Не бросает ли это обстоятельство некоторый свет и на последний, самый жалкий период его жизни, когда он опустился даже до ампула ура-патриота?.. Не сказался ли в нём в момент объявления войны, угрожавшей сокрушить национальную Россию, с большей, чем когда-либо, силою «тамбовский дворянин», победивший в нём его другое призвание — теоретического вождя интернациональной борьбы угнетённого пролетариата всего мира против своего угнетателя — мирового капитала?.. Мне думается, что да.

Но ещё задолго до войны — быть может, начиная с 1903—1904 гг., — он стал уже выдыхаться как теоретический вождь русского пролетариата. Его огромному уму не хватало живых впечатлений от той российской действительности, которая выявлялась в процессе быстрого роста в России капитализма в 90-х и последующих годах со всеми последствиями этого обстоятельства. Когда же жизнь бесконечно осложнилась и для правильно функционирующей диалектической мысли пролетарского вождя данной страны, живые непосредственные впечатления от

этой сложной жизни были столь же необходимы, как пища для организма, Плеханов как раз оказался слаб в этом отношении. И это, конечно, не его вина, а его беда,— великий трагизм его жизни. И чем беднее становилась его диалектическая мысль по части реального содержания, по части отражения диалектического процесса самой жизни, тем чаще и чаще и тем всё настойчивее он прибегает к диалектическим заклинаниям. Он при этом не на шутку, но совершенно всуе сердится на своих противников, более богатых, во всяком случае, чем он, старый эмигрант, опытом и чутьём по части русской действительности, предполагая, что они — безнадёжные метафизики, мыслящие по формуле: «да — да, нет — нет, а что сверх того, то от лукавого».

Мне думается, что он давно уже понимал и сам источник постепенного обнищания своей диалектики и охотно хватался за всякого русского эмигранта, за всякий кружок русских студентов, вообще за всё, что носит следы русского происхождения, надеясь, что этого рода суррогатами ему удастся, если и не насытить живыми впечатлениями от «русского духа» свою изголодавшуюся по этой пище мысль, то, по крайней мере, обмануть её голод.

Я помню, как в 1902 г. я привёз для Ильича из Пскова солидную кипу статистических источников, какие только мне попались под руку. Ильича я не застал в Швейцарии, но Г. В. Плеханов, узнав об этих «сокровищах», пустился на хитрые уверения, что я не ошибусь адресатом, если передам привезённые мною материалы именно ему, Плеханову, ибо у них, в редакции «Искры», общий теоретический котёл.

И я нисколько не в претензии на него, если он на самом деле утащил мой статистический кусочек «русского духа» к себе в кабинет, а остальным участникам общего котла не дал и понюхать эту прелесть. Если только привезённый мною случайный подбор статистических изданий и представлял какой-нибудь интерес, то во всяком случае для Георгия Валентиновича он был психологически нужнее, чем для Владимира Ильича...

Плеханов встретил меня очень приветливо, но сразу же ударил меня, что называется, обухом по голове.

— Э-э, батенька, да вы, видно, не знаете, что у нас тут после съезда произошла свалка, так что скоро обе поло-

вины друг друга съедят, и от них останутся одни только хвосты...

Я хлопал глазами, ничего не понимая. Словно во сне, словно в тумане я слушал его передачу в кратких словах хода событий, развернувшихся на съезде партии и на съезде Лиги.

Он старался нарисовать картину происшедшего в юмористических тонах, вроде, например, того, что «Ленгник как въехал в Лигу на белом коне, так весь честной народ только и ахнул», но от этого юмора ещё более кошки скребли по сердцу.

— Да в чём же, собственно говоря, подоплёка — с отчаянием допытывался я у него. — Какие наметились новые линии? На каких принципиальных вопросах люди не сошлись?..

Он развёл руками и констатировал отсутствие принципиальных расхождений. Просто — личная борьба между Лениным и Мартовым из-за влияния. С своей стороны, он, Плеханов, с грустью глядя на этот развал партии, прилагал все усилия, чтобы примирить драчунов, но тщетно. Сначала Мартов по-мальчишески играл в оппозицию, а потом, когда он, Плеханов, предложил Ленину наилучшую комбинацию в интересах сохранения единства партии — вернуть в ЦО разобитую часть редакции «Искры», оставив фактическую гегемонию за двойственным союзом внутри редакции между ним и Лениным, то этот последний закапризничал и заупрямился. Таким образом, дальнейшая вина за раскол в партии лежит целиком на Ленине.

Я робко выразил ту мысль, что если свалка имеет совершенно случайное происхождение, то всем трезвым и не захваченным ещё психологией этой свалки искровцам следует попытаться сплотиться и общими мирными усилиями устранить элементы раздора в партии, ведущего к гибели все достижения трёхлетней объединительной работы «Искры».

Плеханов поддержал эту мысль и в интересах её осуществления посоветовал мне занять нейтральную позицию и в лагерь Ленина даже не показываться.

— Кстати, где вы остановились? — спросил меня Плеханов.

— У меня ещё нет приюта, — ответил я.

— В таком случае я дам вам записку к т. Аврамову: у него есть комната, и он с вас дорого не возьмёт.

Я с благодарностью принял предложение...

Не успел я переехать в свою комнатку, которую порекомендовал мне Плеханов, как меня сейчас же почтили своим визитом Мартов и Дан.

О, как они были ко мне любезны, как они были чрезвычайно милы ко мне. И оба при этом, «волнуясь и спеша», прерывая друг друга, как Бобчинский Добчинского и обратно, торопились выложить передо мною весь свой огромный запас свидетельских показаний о ленинских кознях.

— Нет, вы прочитайте вот этот документ — это ведь своего рода перл... его нарочно, если бы и захотел, не придумаешь... он с головой выдаёт Ленина, — суёт мне в нос какую-то бумажку Дан.

— А как вам понравится такая, например, картинка, — нажаривает в свою очередь Мартов. — В самый разгар прений вдруг встаёт Ленгник и вещает...

Я выслушиваю двух приятелей — Кастора и Поллукса, чувствуя себя в очень глупом положении. Сложная закусная «интрига» многочисленных персонажей в какой-то длинной-предлинной трагикомедии, в которой фигурирует миллион сто тысяч в высокой степени неинтересных эпизодов, почему-то назойливо претендующих на моё сугубое внимание, — право, есть от чего сойти с ума.

Я неопределённо мычу, отделяваясь какими-то незначительными фразами, и выражаю скромное пожелание окончательно высказать своё отношение ко всему происшедшему после того лишь, как успею всё обдумать, взвесить и переварить весь сырой материал о внутрипартийной борьбе, накопившийся за последнее время.

Не совсем удовлетворённые такой моей нерешительностью, но ещё не теряя надежды сделать меня «своим», Мартов и Дан уходят, обещая повторить свой визит в недалёком будущем.

Только что они ушли, как вдруг стучат в дверь.

— Entrez! А, Пётр Ананьич... Здравствуйте, голубчик. Расцеловались.

— Что ж это вы, Пантелей этакий, глаз не кажете. Приехал — и прямо попадает в объятия Мартушки...

— Да ведь ещё и адресов не знаю, Ананьич... Прямо, как в лесу.

— Смотрите, чтоб вам не напели меньшевистских романсов... Ну как, вы поняли уже, где тут собака зарыта? А?.. Разобрались в нашей истории?

— То-то, что нет, Ананьич! Только и слышал, что кто-то, что-то, когда-то, кому-то шепнул, кто-то кого-то «подсидел», кто-то там... одним словом и корова ревёт, и медведь ревёт, и сам чорт не разберёт, кто кого дерёт...

— Ха-ха... Погодите, дружище, всё поймёте, я вот сейчас всё расскажу вам по порядку...

И опять на моё растерянное, подавленное сознание сыплется гряда каких-то фактов, каких-то «одиозных» моментов с «фальшивыми» списками кандидатов, с истерическими выходками «Мартушки» и т. д. и т. д.— словно туча пепла из Везувия на Геркуланум и Помпею.

— Да что тут толковать, идёте сейчас к Владимиру Ильичу, он быстро вас отшлифует,— догадывается, наконец, Пётр Ананьич.

Я очень рад этому предложению, потому что возлагаю большие надежды на Владимира Ильича. Уже если кто и сможет дать мне ключ к уразумению основной подоплёки раскола, так это, пожалуй, только Ильич.

И вот я опять после 3-летнего промежутка вижу Владимира Ильича. Вид у него совсем не тот победоносный, который сиял на его лице при отъезде из Сибири. Сидит Ильич на диване, похудевший, побледневший, с какой-то неопределённой улыбкой под длинными усами (тогда у него усы не были подстрижены, как впоследствии), и теребит свою жиденюкую, клинушкой, бороду.

Задал он мне несколько вопросов о том, как я проживаю, где моя сейчас семья и т. д. и, наконец, замолчал, предоставив Петру Ананьичу овладеть моим вниманием.

Наконец Красиков спохватился.

— А вы что же, Ильич, молчите, как воды в рот набравши? Ведь я же к вам привёл сего мужа специально для того, чтобы вы разрешили все его сомнения и были, так сказать, его восприемником.

— Зачем?! — улыбнулся Ильич.— Пусть сам разбирается. Есть печатные протоколы съезда... Пусть внимательно прочтёт и сделает свои собственные выводы...

И несмотря на бурные протесты Петра Ананьича, упрямый Ильич решительно не пожелал заняться пропагандой и приведением меня в большевистскую веру. Так-таки я и не услышал от него о съезде ни полслова.

Но его совет был действительно самым разумным.

Я всем претендентам на роли духовных моих отцов заявил, что хочу сам ориентироваться в вопросах расхож-

дения между большевиками и меньшевиками по печатным документам, и выговариваю себе для этой цели несколько дней.

Меня всё-таки держали несколько дней под строгим надзором, и Дан с Мартовым каждый день находили свободную минутку, чтобы «подсыпать» мне новеньких анекдотов о перипетиях борьбы и справиться, когда же, наконец, я разрешусь от бремени сомнений и перейду в их лагерь.

Наконец, однажды, когда они подымались ко мне по лестнице и встретились со мною в дверях, я бросил какую-то фразу, что начинаю уже кое-что понимать и не считаю позицию т. Мартова, занятую им во время второй половины съезда, вполне правильной и безукоризненной.

Вы думаете, читатель, что после этого произошли горячие споры, полемическая схватка между моими учителями и мною, длинные объяснения и т. д.?

Ничего подобного.

— Я давно это подозревал,— скривил губы Мартов, взглянув на Дана.

— Идём... нам здесь нечего делать,— коротко сказал Дан.

И оба друга, бросив уничтожающий взгляд на меня, поспешно удалились, причём у меня и до сих пор живёт такое впечатление, что руки на прощание они мне уже на этот раз не подали.

Я с этого момента самоопределился как большевик, каковым неизменно пребываю и по днесь.



БОЛЬШЕВИЗМ «НА УЩЕРБЕ»

(1-я половина 1904 г.)

Приехал я в Женеву к тому моменту фракционной борьбы, когда большевики, благодаря крутому повороту Плеханова от союза с Лениным к союзу с Мартовым и К^о, потеряли свои организационные позиции в Совете и в ЦО партии. Коротко напомню читателю перипетии этой борьбы, отсылая его за подробностями к печатным документам (например, к брошюре Ленина «Шаг вперед, два шага назад»).

Ещё задолго до съезда в редакции «Искры» не чувствовалось той прочности идеологической спайки её членов, которая служила бы достаточной гарантией от возможных сюрпризов. Работало в редакции по-настоящему только три лица: Ленин, Плеханов и Мартов. Остальные — Аксельрод, Засулич и Потресов выступали в «Искре» изредка и случайно. Редакционные совещания тоже обыкновенно состояли из трёх основных сотрудников. Но и среди этой тройки не хватало некоторых идеологических и психологических предпосылок для того, чтобы представить из себя чрезвычайно прочное, монолитное ядро.

Мартов по своей природе не был крупным политиком. На создание смелого плана большой революционной работы, рассчитанного на длительный период его неуклонного систематического осуществления, он совершенно не был способен и хорош был только в роли истолкова-

теля и популяризатора тех идей (а иногда — идей тех людей), которые почему-нибудь ему импонировали. Ни для кого не было тайной, что ловкий Дан распоряжался после съездовской катастрофы слабовольным Мартовым, как скрытый от взоров публики хозяин «Петрушки» распоряжается своей визжащей куклой, заставляя её члены судорожно подёргиваться. Дан не спускал ревнивых глаз со своей «собственности» и следовал за нею, как тень (в своё время за границей ходила по рукам карикатура: «Мартов и его тень». От вышедшего на прогулку «лидера» новоискровцев падает по земле тень, и в очертаниях этой тени легко узнать фигуру и характерный профиль Дана). А так как Владимир Ильич не был столь хорошей нянькой (да, вероятно, и не желал брать на себя этой скучной роли), то даже и в первый период «Искры» иногда давали себя знать неожиданные зигзаги шатающейся и неустойчивой мысли Мартова (например, по вопросу о терроре, ставшему очень острым в недрах самой редакции «Искры» после покушения Леккерта на фон Валя, по вопросу о либералах, в котором Мартов солидаризировался с Потресовым, по поводу программного лозунга национализации земли, бывшего предметом ожесточённых споров в редакционной шестёрке — главным образом, между Плехановым и Лениным, и по некоторым другим вопросам). Но до тех пор, пока хозяином искровской компании был Ленин, большой беды от этих зигзагов ещё не было, и существовала лишь угроза расхождения во взглядах руководителей «Искры» пока что только в потенции.

Что касается Плеханова, то это, конечно, был не «поплавок», а «грузило» (выражаясь языком рыболовов). Его очень крупная индивидуальность высоко расценивалась и самим Лениным. И действительно, огромный авторитет Плеханова не мог не стоять тогда очень высоко. Один из наиболее сильных теоретиков марксизма, человек с огромной силой логики, с остроумием и изысканным сарказмом, напоминающим иногда сарказм Маркса, со своим революционным темпераментом патентованного «забияки» — Плеханов был ещё на высоте своего величия и своей завидной репутации. А всё-таки... А всё-таки уже и в тот период его апогея славы проскальзывали некоторые признаки постепенного процесса угасания его революционной мысли.

Он заметно выдыхался. Как Антей, оторванный от земли, он терял свой революционный вес. Его уму не хватало непосредственных живых впечатлений от русской действительности, и это, как я уже указывал выше, было источником большой драмы его жизни. Оставались только при нём, как его неотъемлемое достоинство, огромная сила логического аппарата, большая эрудиция, прочные, а иногда и трафаретные, навыки вполне сложившейся марксистской мысли и умение щеголять внешними формами этой мысли.

Но быть вождём армии практиков, действующих на местах по своим подпольям, чутко улавливать назревающие лозунги дня, набрасывать смелой рукой программу партийной работы на ближайший период — на это он уже был неспособен.

Подлинным и настоящим вождём партии и в первый период искровства был несомненно Ленин. Ведь не кто иной, как именно Ленин создал «Искру» как базу для широко задуманной кампании борьбы с идейным разбродом внутри социал-демократии и для сплочения партийных элементов, подготовив все нужные для этой кампании предпосылки (начиная, быть может, с «протеста 17»). Это он «втаскил» в своё дело и Мартова и Плеханова. Это он уже в № 4 «Искры» набрасывает широкой и смелой рукой при молчаливом одобрении своих союзников конкретный план организации партии. Не кто иной, как он пишет затем свою великолепную, блестящую книжку «Что делать?», которая берёт все запутанные вопросы шатающейся социал-демократической мысли под знак тщательнейшего разбора, филигранно-тонкого анализа, доведения до полной ясности, которая становится евангелием всех русских искровцев. Это он заводит у себя под боком конспиративный центр сношения с русскими практиками и комитетами. Это он пишет руководящие письма на места (например, «Письмо к товарищу») и в этих письмах учит, поясняет, толкует, подсказывает ближайшие лозунги дня...

Одним словом, он самый подлинный, самый естественный центр старого искровства, которое без него было бы звуком пустым. Что же касается Мартова, то он стал глупой игрушкой стихий. Таким образом, оба они, отрываясь от Ленина, променивали, сами того, вероятно, не подозревая, почётное положение деятелей революционной

социал-демократии на сомнительного достоинства роль «бывших людей»¹.

На съезде партии Мартов, видя себя в центре редакционно-искровской оппозиции (так сказать искровского сената из Аксельрода, Засулич и Потресова), возымел вдруг несчастную для него идею «эмансипироваться» от Ленина.

Первый дебют «эмансипации» Мартова выявился во время обсуждения § 1 Устава о том, кого считать членом партии. Вряд ли самому Мартову было тогда ясно, на какой скользкий путь оппортунизма он становится, выдвигая свою формулу о расширении рамок партии за счёт тех индивидуалистических элементов, которые не пожелают войти в партийные организации и захотят «гордо» остаться одиночками. Мне кажется, что ему просто (хотя, конечно, с точки зрения его природы не случайно) вздумалось выявить свой собственный зигзаг мысли в противовес ленинской линии. Отчего же бы в уставе и не быть такому маленькому гуттаперчевому вариантику, свидетельствующему о его, Мартова, прекраснодушии и, главное, «независимости» его мысли... Но когда «сам» П. Б. Аксельрод изволил поддержать его своим великолепным аргументом о профессоре, который тоже будет стучаться в дверь социал-демократической партии, и когда радостно изумлённое, взволнованное съездовское болото и махровое правое крыло с Мартовым и Акимовым во главе учуяло вдруг носом, что из яйца вылупляется новый вождь для всех унижённых и оскорблённых когда-либо ленинским «кулаком», тут уж Мартова взмыла волна. Он закусил удила. Отныне его лозунгом становится «раскрепощение партии от ига ленинского централизма», т. е. прежде всего его личная эмансипация от влияния Ленина. Он яростно борется за состав Центрального Комитета, но с уходом бундовцев съездовского болота уж не хватает, чтобы обеспечить за ним большинство. При

¹ Когда я писал свою книгу «На повороте» в 1921 г., мне ещё не были известны тогда факты крупных разногласий и конфликтов внутри искровской редакционной шестёрки. Опубликованные впоследствии в Ленинских сборниках (например, в № 2 Ленинского сборника) данные об этих разногласиях дают полное представление о сложных, постоянно угрожавших существованию старой «Искры» взаимоотношениях между членами искровской редакционной коллегии. (Примечание к 3-му изданию).

выборе редакции центрального органа решение большинства съезда распустить старую редакцию «Искры» и произвести перевыборы (мысль, которая раньше ему не только не казалась чудовишной, но представлялась как будто бы совершенно приемлемой) доводит его до истерического бешенства. Тем не менее большинство съезда, не обращая внимания на истерические вопли меньшинства, выбирает редакционную тройку из Плеханова, Ленина и Мартова. Этот последний ультимативно ставит вопрос о вводе в новую редакцию всех прежних сотрудников «Искры», в противном же случае он отказывается от привхождения в редакцию ЦО. Таким образом в редакции остаются Плеханов и Ленин.

Между тем лондонская экзотическая температура съезда переносится в Женеву и здесь с особенной силой даёт себя знать на съезде Заграничной лиги. Если на II съезде из русских практиков Ленин смог опереться на большинство из своих единомышленников (любопытно отметить, что все или почти все присутствовавшие на съезде рабочие голосовали с большинством против оппозиции), то здесь, в гуще заграничной интеллигентщины и литературщины, бурно праздновавшей своё освобождение от ига партийной дисциплины, Мартов облюбовал себе идею эффектного реванша. Огромное большинство членов Лиги было за него. Он уже попал в цепкие руки Дана, и если бы даже захотел отступить, то было уже поздно. Лига просто заняла позицию игнорирования II съезда. Решительная мера (подсказанная, между прочим, «непримиримо» настроенным Плехановым) со стороны представителя ЦК распустить съезд Лиги ввиду его неподчинения постановлениям съезда вызвала только ещё пущий скандал со стороны анархически настроенных членов Лиги, которым, повидимому, было уже, что называется, и море по колено и которые шли *à la banque*.

И вот Плеханов, который до сих пор мужественно боролся за интересы партии и за достоинство съезда против анархических элементов заграничной кружковщины, вдруг как-то струсил и скорёхонько «побежал в Каноссу». Это был для него момент очень серьёзного экзамена. Испугается или не испугается он той шумихи, которая так эффектно была инсценирована на съезде Лиги? Поймёт ли он, что эта шумиха вовсе ещё не выражает настроения большинства подлинной партии, которая там, в разных

уголках России, готовится пролетариат к большому революционному выходу на историческую революционную авансцену? Оценит ли он по достоинству удельный вес и Мартова, и Мартынова, и всех прочих вместе взятых оппортунистов, имеющих уже своё заслуженное прошлое или только что ещё вступивших на оный путь, чтобы не задрожать перед мыслью о расколе и даже, в случае надобности, отмежеваться от буйных заграничных элементов партии, задерживающих её поступательное шествие вперёд?

Г. В. Плеханов экзамена не выдержал. Картину заграничной склоки он принял за отражение российских настроений среди руководящих элементов партии (а виною этого было всё то же самое обстоятельство — его оторванность от русской жизни) и... и... и... сдрейфил (выражаясь грубовато).

Якобы во избежание раскола партии он потребовал от Ленина под угрозою своего собственного ухода из редакции ввода в неё стоящей, так сказать, за дверью ЦО и уверенной в своей конечной победе четвёрки (Мартова, Аксельрода, Засулич и Потресова). При такой постановке вопроса Ленину ничего другого не оставалось, как только выбирать одно из двух: или согласиться на роль страдательной оппозиции в редакции, имея перед собой распоясавшихся и закусивших удила оппортунистов (совершенно было ясно, что «Искра» фактически попадёт в руки Мартова, Дана и им подобных), или же совершенно уйти из «Искры». Ленин по вполне понятным причинам выбрал второй исход.

Шумно и радостно хлынувшая в двери редакции четвёрка, вслед за которой туда же потащились и другие причастные к литературе меньшевики — Дан, Мартынов, Кольцов, Троцкий, позволила себе даже покуражиться над Лениным. Вчерашние полуанархисты имели смелость упрекать его, что своим выходом из редакции он бойкотирует «законный» состав редакции и нарушает партийную дисциплину. Конечно, этот жест вовсе не выражал подлинного сожаления этих милых людей, что среди них нет Ленина, а исключительно лишь задорное желание «показать язык» своему «побеждённому» смертельному врагу.

Так или иначе, однако, но самая крупная большевистская цитадель — ЦО, а вместе с ним и Совет партии были сданы меньшевикам.

Правда, у большевиков оставался ещё пока оплот в лице ЦК. Выбранная на съезде в ЦК тройка (Ленгник, Кржижановский и Носков) путём кооптации пополнилась до 9 (из большевиков, ибо на представительство в ЦК нескольких меньшевиков — не большинства однако членов — лидеры меньшевизма не пошли, как на невыгодную для них сделку). В числе кооптированных был, конечно, и Ленин после его выхода из состава редакции. Но первый же провал ЦК в России угрожал сделать этот оплот очень шатким, как это потом на самом деле и оказалось.

Что же касается высшего Совета партии из 5 лиц, то против двух членов из ЦК (Ленина и Ленгника) было сплочённое большинство из 3 лиц: двух от редакции ЦО — Мартова и Аксельрода и 5-го члена, председателя Совета, предполагавшегося «нейтральным» по отношению к представителям от ЦО и ЦК — Плеханова.

Но вот тут-то и вся история. Отчасти от Плеханова зависело смягчить остроту партийного кризиса и своим действительным нейтралитетом поставить Ленина в положение представителя лойяльной оппозиции внутри партии так, чтобы дело не дошло до полного раскола.

Но Плеханов понял свою задачу таким образом, что единства партии можно и должно достигнуть полным сокрушением слабейшей стороны. За такую слабейшую сторону он признал ленинцев (ведь шутка ли сказать, как Лига была грозна в сознании своей большой силы и как перед ней беззащитно выглядел Ленин, а, следовательно, Ленин и иже с ним — *morituri* (должны умереть)).

Поэтому и в новой «Искре» и в Совете Плеханов не старался даже соблюсти внешнего вида нейтралитета. Решительно все предложения представителей большевистского ЦК неизменным большинством 3 против 2 неукоснительно проваливались в Совете без каких бы то ни было попыток договориться с «оппозицией» относительно средней линии.

Я был одно время секретарём Совета партии со стороны большевиков и очень хорошо помню картину заседаний этого «высокого учреждения».

Владимир Ильич всегда шёл в Совет, как на пытку. Он очень хорошо знал, что его там будут распинать: Мартов всласть покуражится, Плеханов непременно изобразит из себя Юпитера-громовержца... И в конце концов вся новоискровская тройка с прорывающей наружу или

еле сдерживаемой улыбкой торжествующих победителей станет майоризировать его и Ленгника по всем пунктам.

И всё-таки он не только не уклонялся от посещений Совета, но и требовал его созыва, побеждая в таких случаях упрямство Плеханова и К^о.

Что же его тянуло на эту Голгофу? Отчего же он не махнул рукой на этот организационный рудимент, который решительно никакой руководящей роли в партийных делах не играл да и не мог играть при данной ситуации?

Мне как-то на одной партийной конференции пришлось слышать его упрёк по адресу ноющих и скулящих по поводу того, что они не находят себе в наших бюрократических учреждениях коммунистической поддержки, а иногда даже и элементарной справедливости.

— А между тем никто из этих жалобщиков не сказал,— горячо протестовал в своей речи Ильич,— что же со стороны обиженных и неудовлетворённых было сделано для борьбы с данным проявлением бюрократизма или прямой недобросовестности, пытались ли они обратить внимание на эти явления тех лиц и учреждений, коим такого рода непорядки ведать надлежит? Если же нельзя было добиться толку на месте, то была ли сделана попытка перенести вопрос на обсуждение высшей советской или партийной инстанции?..

— Владимир Ильич не совсем прав,— заметил мне, между прочим, один из участников конференции, обмениваясь со мной впечатлениями от речи Ленина.— Ведь, собственно говоря, к чему же сводится смысл его слов, к «борьбе за право»... Но уже тут, пожалуй, можно весьма многое возразить.

И действительно, если не ошибаюсь, у Ильича была маленькая склонность к «борьбе за право» («Kampf ums Recht»), если это право не навязанное нам извне, не буржуазного происхождения, не чуждо нашей революционной природе, а наше собственное партийное (или в более широком масштабе — советское) право, которое — худо или хорошо — мы положили в основу своего общественного бытия.

Впрочем, одной только этой чёрточкой (если только она вообще играла какую-нибудь в нашем случае роль) нельзя было бы объяснить тенденции Ильича искать разрешения спорных вопросов в Совете партии. Дело же объясняется гораздо проще. Ильичу нужны были докумен-

тальные доказательства и поводы для агитации против меньшевиков. И в этом отношении Совет является единственной платформой, единственным местом, где можно было заставить представителей меньшевизма «на проклятые вопросы дать ответы нам прямые».

— Я знаю, милые люди,— мысленно обращался к своим противникам Ильич,— что вы там будете надо мной измываться. Но свидетельницей нашего разговора на Совете и в конечном счёте нашим судьёй будет вся партия. Поэтому не угодно ли вам пожаловать к ответу!..

Таким образом, Владимиру Ильичу оставалось одно из трёх: или ходить на Совет, как в баню, где хороший банщик может тебя горячим веничком попарить, либо махнуть рукою на Совет и предоставить этому учреждению умереть естественной смертью или, наконец, продолжать пользоваться Советом как источником выявления диалектических противоречий внутрипартийной борьбы с тем, чтобы «нелегально», т. е. вопреки решению Совета, протоколы его заседаний полностью или частично опубликовывать.

В этом последнем случае Ильич не счёл нужным проявлять очень уже фетишистское отношение к «праву», и от метода «борьбы за право» решил в меру целесообразности перейти к революционным примерам борьбы с меньшевиками.

Пока что — нечего было церемониться с решением Совета о неопубликовании его протоколов, и нужно было широкою рукою черпать из этих протоколов всё то красочное, что само напрашивалось на опубликование.

И вот мне вспоминается, как после одного из заседаний Совета, случавшихся очень не часто (в несколько месяцев раз), я привёл в порядок свои протокольные записи, согласовал их с замечаниями меньшевистского секретаря и отдал на просмотр толстую тетрадищу с протоколом Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич пробежал глазами протокол и подписал. Ленгник тоже руку приложил. Оставалось получить подписи Мартова, Плеханова и Аксельрода. При этом Владимир Ильич советует мне соблюдать большую осторожность с этой тёплой компанией, чтобы как-нибудь не потерять из поля своего зрения драгоценного документа, имеющегося в единственном экземпляре.

Я отправился к Мартову.

— Вот, Юлий Осипович, протоколы Совета... Мы их составили вместе с NN (тот имя рек, который был секретарём от меньшевиков), и вряд ли могут быть какие-нибудь сомнения в их объективности... Подмахните, пожалуйста, свою фамилию...

— Оставьте мне протоколы, я просмотрю и завтра вам верну их...

— Юлий Осипович, я очень прошу вас просмотреть сейчас... Я тороплюсь свалить с себя это дело... Зайду после вас ещё к Плеханову,— он подпишет...

— Но я могу за вас дать и Плеханову и Аксельроду на подпись... Что же вас, собственно говоря, волнует...

— Да видите ли... Протоколы имеются в единственном экземпляре... могут как-нибудь затеряться... А я, как секретарь, считаю себя ответственным за судьбу этого документа...

— Как затеряться?!. Ведь я же не ротозей, чтобы терять нужные документы... Я вам сказал, что скоро протоколы вам верну... Даю вам честное слово, если хотите... чего же вам ещё больше нужно...

Мартовское честное слово выбило у меня почву из-под ног. Я выпустил драгоценный документ из своих рук.

С тяжёлым сердцем я пришёл на доклад к Ильичу.

Узнав, что протоколы я оставил Мартову «до завтра», он пришёл в такое бешенство, в каком я его никогда не видел ни до, ни после этого момента. Он бегал по комнате взад и вперёд, как разъярённый лев в клетке, и в монологе, полном ноток крайнего раздражения, подвергал меня самой жестокой экзекуции.

— Если у вас такая невинная младенческая душа,— выпаливал он мне в упор,— зачем же вы берётесь за серьёзное политическое дело...

— Но ведь Мартов же дал мне честное слово,— упавшим голосом, чуть ли не со слезами на глазах, робко пытаюсь я оправдаться.

— О-о, молчите, пожалуйста... Какая святая простота!..— процедил он с величайшим презрением сквозь зубы.

И как вы думаете, читатель, сдержал Мартов своё честное слово? Ну, конечно, нет. Он даже не пожелал со мною вступать в объяснения по этому поводу.

Отныне я узнал, какова подлинная природа «политической борьбы» и какую цену с точки зрения её может

иметь обывательский, плёвый, ничего не стоящий термин «честное слово»...

Точно таким же образом и так называемый «Центральный орган» партии, т. е. новая «Искра», стал исключительным и монопольным газетным орудием меньшевиков, которые просто смеялись над нашей претензией на помещение в ней статей или даже просто какого-нибудь «открытого письма» из лагеря «оппозиции».

Чтобы читатель мог себе ясно представить картину тех отношений, которые установились между двумя враждующими лагерями эмигрантской социал-демократической братии, я бы охотнее всего отослал его к той брошюрочной литературе, посредством которой обе стороны обстреливали позиции друг друга. Но вряд ли эта брошюрочная полемическая литература скоро будет полностью переиздана. Поэтому я позволю себе в интересах характеристики этой распри заглянуть в некоторые литературные памятники описываемого периода.

Редакция «Искры» опубликовала письмо к партийным организациям — только «для членов партии», в котором излагала свой знаменитый «банкетный» план земской кампании. Как известно, в этом письме Аксельрод и К^о, очень пренебрежительно отзываясь о таких демонстрациях, как, например, ростовская, и квалифицируя эти революционные выступления рабочих как «низший тип мобилизации масс», как «обычный, общедемократический тип», противопоставляют этому низшему типу гораздо более «высокую» тактику выступления рабочих на либеральных банкетах, если, конечно, впоследствии на сие соизволение хозяев банкета (рабочие должны идти путём «соглашения» с оппозиционной буржуазией и отнюдь не действовать нахрапом, дабы не производить среди этой буржуазии «панического страха»).

О, со времени написания «Протеста 17» против «Кредо» Кусковой Владимир Ильич не испытывал такого боевого зуда!

«Письмо» редакции «Искры» появилось в тот день утром, а к вечеру у Ильича уже была готова отповедь меньшевикам (изданная затем отдельной брошюрой под заглавием «Земская кампания и план «Искры»»).

Но своё вполне самоопределившееся оппортунистическое лицо меньшевики явно обнаружили только осенью 1904 г., а до этого времени преобладали «кооптационные»

мотивы борьбы, и теоретическому перу Владимира Ильича действительно нечего было делать. Для «кооптационной» свалки и драки с Мартовым, Аксельродом, Троцким и Плехановым в Ильиче не было надобности. Да он, признаться сказать, и не годился для этой работы. Слишком уж у него говорила теоретическая натура, чуждающаяся мелочной борьбы и методов полемического поругивания «походя». У многих составилось представление, что он несдержанный на язык полемист, а на самом деле это представление, как нельзя более, далеко от истины. Он может быть достаточно резким и откровенным по части квалификации чьей-нибудь убогой мысли или политической линии, он не скупится на такие термины, как «оппортунизм», «хвостизм», «измена делу революции», «предательство» и т. п., он даже иногда позволяет себе употребить слово «дурачки» с очевидным намерением указать на то, что в данном случае центр тяжести лежит не столько в злой воле авторов какой-нибудь несчастной идеи, сколько в незрелости их мысли, в их простоватости... Но всегда, во всех таких случаях объектом его нападок является продукт какой-нибудь общественно-политической мысли, против которой он и вооружается всеми силами своей аргументации, и *никогда* не опускается до каких-нибудь личных выпадов, прямого отношения к объекту спора не имеющих.

Мне вспоминается при этом один очень характерный эпизод. В карикатуре «Как мыши кота хоронили» не-сколько легкомысленный автор вложил в уста одной из мышей, пострадавшей от когтей Мурлыки, предсмертный вздох: «Испить бы кефиру...» Так как ни для кого не было секретом, что П. Б. Аксельрод имел своё кефирное заведение в Цюрихе, вся наша «шпана» реагировала на этот кефирный намёк весёлым одобрительным смехом. И только Владимир Ильич, вообще говоря самый благосклонный ценитель моих карикатур, от души хохотавший (как только он умел хохотать) над тем, что ему казалось в них остроумным, тут вдруг по поводу «кефира» нахмурился и решительно заявил, что это не годится: ни одного ведь атома политической насмешки в этом дурашливом выпаде нет, а следовательно, он не должен иметь места. Нечего делать — сконфуженному автору пришлось в оригинале, готовом уже к отправке в печать, путём подклейки заменить забракованное «*bon mot*» другим изречением:

«Я это предвидел», что было намёком на любимый оборот речи Аксельрода, воображавшего себя изумительно тонким прорицателем.

Как полемист — необычайно субъективный, темпераментный и истеричный Мартов составляет совершенную противоположность Владимиру Ильичу. Для Мартова все средства полемической борьбы были хороши. Я помню, как в одной из своих полемических брошюр против Ленина он обнаружил способность в пылу бешеной злобы опускаться до самых грязнейших, клеветнических выходов, служа до некоторой степени прототипом будущих рекордных героев беззастенчивой наглости, вроде пресловутого Алексинского. Сравнение тактики Ленина с нечаевщиной (этот «смачный» термин долгое время был у меньшевиков столь же ходким, как и «якобинизм», «бонапартизм» и пр.) показалось ему, извольте видеть, слишком уж бледным и пресным... Нужно было выдумать что-нибудь позабористее, посочнее, оглушительнее. И вот он выкрикивает такую даже фразу: «сегодня нечаевщина, а завтра дегаевщина»... Несчастный, он даже, вероятно, и не подозревал в момент написания этой пошлости, что, становясь жертвою своих злобных, мутных инстинктов, застилающих его политическую мысль и даже торжествующих над остатками его здравого смысла, он выдаёт себе *testimonium paupertatis*¹ и лишает себя права на то, чтобы с ним сколько-нибудь серьёзно считались, как с порядочным в элементарном смысле слова противником...

Недаром же у Владимира Ильича, когда он пробежал глазами этот новый перл полемических красот Мартова, лицо искривилось презрительной усмешкой, и он реагировал на пахучее мартовское остроумие одной только фразой:

— Ну, теперь довольно... Отныне — карантин. (Владимир Ильич характерным жестом руки выразил идею отмежевания от нечистоплотного противника.) Ни в какую полемику я с Мартовым больше не вступаю.

И вот на сцену выступает большевистская «шпана»: Галёрка (М. С. Ольминский), Павлович (Красиков), Лядов, Бонч-Бруевич, Олин (Лепешинский), Гусев и другие. Бонч-Бруевич организует большевистское издательство. Лядов наскоро пишет брошюру на немецком языке для

¹ Свидетельство о бедности.— *Ред.*

Амстердамского конгресса. Олин по заказу товарищей рисует свои политические карикатуры («Как мыши кота хоронили», «Участок», «Меньшевицкое болото» и т. д.). И все они, вместе взятые, ведут себя очень беспокойно: на собраниях храбро дерутся с меньшевиками, не боясь никаких перипетий и последствий драки, и всё время тревожат редакцию новой «Искры», посылая туда свои вызовы, полемические статьи, «открытые письма» и время от времени выпаривая из берлоги даже такого крупного зверя, как сам Георгий Валентинович Плеханов, который, грозно рыча и страшно вращая своими зрачками под густыми нависшими бровями, выполняет на страницы «Искры» и начинает «пугать» шпану:

— А-а... где они... Я, тамбовский дворянин, сейчас вот вас, такую сякую сволочь, изничтожу...

А «шпана» с превеликим ликованием подхватывает: «Ура, тамбовский дворянин! Да здравствует тамбовский дворянин!...»

Весной 1904 г. на женевском горизонте появился очень скромный и даже как будто застенчивый, но уже не молодой эмигрант М. С. Александров (Ольминский — «Галёрка»). Когда я его увидел впервые в нашей столовой, то поспешил «обследовать» нового человека; не годится ли, дескать, в качестве «большевицкого дома нашего приращения»... Результат обследования не дал особенно утешительных результатов: слишком «осторожничает», подозрительно скашивает на собеседника глаза, что-то такое бормочет о своих антипатиях к бонапартистским и бюрократическим замашкам партийных верхов, о своём доверии к демократическим инстинктам низов и готов, повидимому, повторять всякого рода меньшевицкие благоглупости о заговорщических тенденциях Ленина, о его бонапартизме и т. д.

Ясное дело — кандидат в меньшевики.

А жаль... Лицо такое умное, благообразное, открытое... И стаж революционный, повидимому, не незначительный... Как видно, старый, матерой, боевой волк...

О дальнейшей эволюции на сторону большевизма этого товарища лучше всего, пожалуй, рассказать его же собственными словами:

«Предо мной совсем ещё недавно (по особым обстоятельствам) стоял вопрос: куда примкнуть? Со сторонами я мог познакомиться только по печатным источникам и

проникся сильнейшим предубеждением против большевизма за его бюрократизм, бонапартизм и практику осадного положения. Я готов был растерзать Ленина за его фразы об осадном положении и кулаке. Оставалось прикнудить к меньшинству. Но вот беда: я не мог найти в печати указания на такие общие принципы, которые по своей ясности, важности и неотложности оправдали бы революционный образ действий по отношению к съезду и его постановлениям... Оставалось выбрать одно из двух:

Первое: подвергнуть себя тирании осадного положения, подчиниться требованию «слепого повиновения», «узкому толкованию партийной дисциплины», возведению принципа «не рассуждать» в руководящий принцип; признать за высшими учреждениями власть «приводить свою волю в исполнение чисто механическими средствами» и т. д. (см. протоколы съезда Лиги, предисловие Дана и Лесенко, стр. VI).

Второе: стать под знамя восстания, помочь разрывать уже сорганизованную партию и не в силу расхождения в основных принципах, а из-за недовольства деталями устава и способом его применения.

Ни туда, ни сюда. Положение трагическое...

Читаю дальше протоколы съезда Лиги: «Циркуляр ЦК»... и т. д. Читаю и негодую: «Вот он, дезорганизаторский бюрократизм: не успели обносить мундиров, а уже строчат циркуляры». Ищу бонапартизма в содержании циркуляра и узнаю, что ЦК обратился к Лиге с целью: а) допустить в неё бывших борьбистов, рабочедельцев и т. п.; б) образовать по городам секции Лиги «с большей или меньшей автономностью».

Дезорганизаторское третирование (см. Аксельрода) и... желание облегчить доступ в партийные организации представителям всех социал-демократических течений. Требование слепого повиновения и... автономия секций. Тут что-то не так. В новом уставе Лиги об автономии секций ни слова: кто же были эти бонапартисты, помещавшие провести принцип автономии? Во всяком случае, если ЦК допускает борьбистов и рабочедельцев, то и мне не запретят «рассуждать»... Так рассеялся один из кошмаров, давивших меня после прочтения предисловия к протоколам съезда Лиги. Я начал понимать, какое большое место в речах и статьях меньшинства занимает

беллетристика. Чтобы определить, насколько новые беллетристы верны заветам реалистической школы в искусстве, я решил поближе познакомиться с тем, как проводятся на практике принципы бюрократизма, бонапартизма и осадного положения. И то ли уж неудачи меня преследовали, только я узнал многое, а гильотины всё-таки в работе у «большинства» не видал, робеспьеров не встречал, требования слепого повиновения не слышал. Осмелился даже почтительно рассуждать — и ничего, жив.

Скажу яснее. Я заявил, что, оставляя пока про себя, как не относящуюся к делу, свою оценку действий большинства и меньшинства на съезде и после съезда, я не вижу в настоящее время оснований к революционному образу действий против учреждений, избранных съездом. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы встретить самое лучшее товарищеское отношение со стороны большинства, чтобы получить работу по своим силам и вкусу, без всяких ненужных стеснений. По личному опыту и по наблюдению я убедился, что страшные слова: бюрократизм и т. д. — по меньшей мере недоразумение.

Такова «исповедь» (и притом вполне искренняя) одного из многих, сначала предубеждённых против «большинства», свежих людей, которые, однако, поразобравшись как следует (благодаря своему революционному чутью и будучи достаточно взрослыми), сделали в конце концов свой свободный выбор — не в направлении к «меньшинству».

Но зато уж, сделавши этот выбор и покончивши с периодом своих сомнений и колебаний, Галёрка, благодущнейший сам по себе и добрейший из людей, становится рыцарем большевизма без страха и упрёка, выступает с открытым забралом против своих сильных противников, устремляясь при этом с копьём наперевес на самых крупных из них, самых страшных, пользующихся репутацией «непобедимых» (ему на «мелочь» — наплевать! подавай ему по меньшей мере Плеханова и Мартова), и бросается в «драку» без оглядки.

Благодаря парадоксальным свойствам галёркинского полемического ума получалась иногда очень забавная картина. В то время как, например, Ленин склонен бывает иногда подхватить направленную против него из вражеского лагеря «одиозную» кличку и, не бросая её назад по адресу отправителей, расписывается в получении её

(«ты якобинец!», — бросают ему презрительно меньшевики. — Пусть так, — отвечает Ленин, — но якобинец по методам революционной борьбы, идущий с рабочим классом для достижения конечных целей пролетарской классовой войны, это и есть революционный социал-демократ), — Галёрка систематически придерживается других приёмов.

— Караул, чудовище Ленин погубил партийный демократизм! — кричат меньшевики.

— Да здравствует демократизм и долой антидемократов! — подхватывает воинственный Галёрка, давая здорового «леща» по затылку Мартова и стараясь «садануть» самого Плеханова.

— Бей бюрократов, партийных самодержцев, любителей дирижёрской палочки! — вопят литераторы из «Искры».

— Дуй их и в хвост и в гриву! — в свою очередь свистит Галёрка, оскорбляя рядом непочтительных действий «старейших и лучших» из меньшевистского штаба.

— Отечество в опасности! Бонапартизм идёт!.. — выкликают истерически меньшевистские цицероны и демофены.

— Долой бонапартизм! — заглушает их вопли голос Галёрки, вихрем врывающегося в лагерь меньшевиков и рассыпающего там удары направо и налево.

Но что же это такое?.. — спросит, быть может, изумлённый читатель. — Ведь это какой-то фарс, а не серьёзная идейная борьба двух половин самой передовой политической партии...

Ну что же — фарс, так фарс. Меньшевики после сделанных большевиками уступок закусил удила. По французской пословице — аппетит приходит вместе с едой — они стали неумеренно раскрывать свою пасть. Заполучивши в свои руки через перебежавшего к ним Плеханова Центральный орган, имея в своём распоряжении Совет партии, они в конце концов поставили резко вопрос об изменении состава ЦК в желательном для них смысле и в противовес ясно выявленной воле большинства II съезда потребовали исключения из ЦК Ленина, всё поставили на карту, чтобы не допустить созыва III съезда, на котором, быть может, придёт конец их «лафе» (ибо несомненно, что большинство русских практиков было бы на стороне большинства II съезда). Что же оставалось делать

большевикам? Плакать, lamentировать, меланхолически признать факт меньшевистского засилья в центральных учреждениях партии и незаметно сойти со сцены? И это при полном сознании того, что меньшевистская накипь даёт себя сильно чувствовать только на верхах, в то время как партийный организм в целом ещё здоров и не разложился под влиянием систематической работы меньшевистского анархизма?

Само собой разумеется, что так позорно закончить свою борьбу большевики не могли. Борьба за созыв III съезда партии стала их главным лозунгом. А чтобы общественное мнение партии не оказалось монопольным объектом обработки со стороны новоискровцев, большевики не могли не реагировать на обильное истечение той мутной струи в партийные низины, которая лилась через сточные канавы меньшевистской прессы. И задорная, полная юмора и карикатурных подчас мотивов полемика большевистской «шпаны» была для этой цели как нельзя более кстати. В этом отношении брошюрочная литература Галёрки сыграла свою историческую роль. Даже то обстоятельство, что Галёрка сам несколько заражён сбивающимся иногда на мелкобуржуазную точку зрения фетишистским преклонением перед принципом демократизма (что, в сущности говоря, составляет самое слабое место позиции Галёрки в *теоретическом отношении*), — даже это обстоятельство было очень кстати потому, что направляло оружие Мартова против него же самого.

Писания Галёрки импонируют своей искренностью и отсутствием в них иудушкина лицемерия, чего нельзя сказать о выступлениях корифеев меньшевизма. Эту искренность можно было бы предполагать и заранее: ведь Галёрка, будучи, как и очень многие из нас, выходящем из той массы, которая у него фигурирует под именем шпаны, черни, плебса, быдла и пр., восторженно встретил первые вести о съезде партии, объединившем всех нас под знаком дружного, товарищеского напора на общего врага. Своих излюбленных литературных вождей и прежде всего, быть может, Плеханова он, как и все мы, готов был бы носить на руках и кричать ему до хрипоты голоса «виват!».

Но слово «раскол» оглушает его. Первой его реакцией на это оглушительное словцо является чувство протеста против Ленина. Это, мол, Ленин недооценил значения объединительной роли съезда и своей неуступчивостью

отпугнул оппозицию, вогнавши, таким образом, клин в партию. Однако, что же это такое? Факты как будто говорят другое. Ленин почти без бою сдаёт «Искру» своим противникам! До момента этой сдачи оппозиция («меньшинство») получает самые любезные приглашения выносить свои споры и недоумения на страницы Ц. О., а после «переворота», другая оппозиция (съездовское «большинство») можно сказать и на пушечный выстрел не подпускается к занятой меньшевиками крепости.

Но может быть, положение дел спасёт 5-й — «нейтральный» член Совета? Куда тебе! В голову Плеханова засела навязчивая идея: раздавить Ленина и всех, иже с ним, чтобы таким образом восстановить единство партии.

— Будем апеллировать к партии! Сделаем наш спор открытым. Опубликуем протоколы Совета,— предлагает Ленин.

— Ни в каком случае,— отвечает другая сторона.— Протоколы Совета опубликованию не подлежат.

— В таком случае давайте поскорее соберём новый съезд, иного ведь способа изжить эту смуту я не вижу,— хватается за последнее средство Ленин.

— Изживём...— ухмыляются новоискровцы.— И без съезда обойдёмся... Ты всё равно уже подыхаешь, а после твоей политической смерти у нас в партии водворится мир и благоденствие.

И вот спрашивается, каким же образом вся эта картина, нарисованная старушкой историей на тему «горе побеждённым!», должна была подействовать на нас, рядовых большевиков, давно уже учувших нездоровую природу «меньшинства»?

Прежде всего мы страшно разочаровались в наших «учителях».

— Так вот они какие, если их вывернуть наизнанку,— подумали мы.— Да неужели же это тот самый Г. В. Плеханов, который и т. д.— с недоумением спрашивали мы друг друга... А Георгий Валентинович в это время, как будто бы отвечая на наш вопрос, рапортовал на страницах «Искры»: я, тамбовский дворянин, Георгий Валентинов сын Плеханов...

От отчаяния и от чувства тоски и ужаса мы начали переходить к смеху. Наши кумиры оказались великанами на глиняных ногах. Но в то же время, в качестве придавленных и согнутых в бараний рог внешними успехами

меньшевистской стратегии и дипломатии (за границей), мы не могли благоденствовать.

Лозунг «долой авторитарность», «долой кумиров на глиняных ногах», «долой партийных чиновников», «долой торжествующих над «трупом» кота мышей», «долой анархистов и подлинных разрушителей партии» — стал нашим боевым лозунгом. И мы (а в том числе, конечно, и Галёрка) были искренни прежде всего уже потому, что наша субъективная психология людей, чувствовавших на своей собственной шкуре деспотизм кучки олигархов, не изживших ещё привычек нашего партийного детства, совпадала с объективной тенденцией роста партии, которая перед лицом грядущей революции требовала от своих вождей перехода от кружковщины к другим организационным формам, долженствовавшим более отвечать задачам большой политической партии пролетариата накануне штурма им самодержавия.

Зато же и ненавидели меньшевики Галёрку, как самого злейшего своего врага! Я помню, как однажды на мой какой-то реферат (собравший в зале Handwerk'a довольно многочисленную с точки зрения большевистской захудалости публику) изволили почему-то препожаловать (чуть ли не впервые, после многих месяцев абсолютного отсутствия контакта между членами двух фракций) именитые меньшевики: Мартов, Мартынов и некоторые другие. Можно было опасаться, что мне, несчастному, не поздоровится, ибо с нашей стороны особенно зубастых полемистов не было. К счастью для меня, со мною рядом сидел выбранный председателем собрания добрейший и тишайший Михаил Степанович Ольминский. Он явился для меня настоящим громоотводом. По крайней мере весь запас иронии, раздражения и полемического пыла Мартова, совершенно не в соответствии с темой доклада, вылился на голову бедного Галёрки. На меня же набросился один только Мартынов, но это было не так уж «страшно».



НАШИ АКЦИИ ПОДЫМАЮТСЯ

(1904—1905 гг.)

«Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно».

Характеризуя жанр Галёрки в предыдущей главе, я пытался выяснить, как такого рода полемическая струя была подсказана условиями места и времени. К тому же жанру зазорной полемики с торжествующими врагами, но только гораздо более примитивного свойства по технике выполнения, слéдует отнести и политические карикатуры того времени женевского происхождения, рисованные не столько искусным, сколько усердным карикатуристом по заданию коллектива большевистской фракции.

В приложении к № 67 «Искры» от 1 июня 1904 г. была напечатана статья Л. М. (Мартова) под заглавием «Вперёд или назад?» и с подзаголовком: «Вместо надгробного слова». В этой статье Мартов делает «весёлое лицо при плохой игре» по поводу того, что книжка Ленина «Шаг вперед, два шага назад», выхода которой в свет меньшевики ждали с некоторым страхом, якобы не попала в цель и оказалась холостым выстрелом. Нечего и говорить, что длинная, во весь вкладной лист, полная необычайно тошнотворного пустословия статья эта представляет сплошной букет специфически мартовских полемических красот. Реагировать на неё более или менее серьёзно не было ни малейшей надобности. Ильич совершенно равнодушно прошёл мимо неё. Если тут и была какая-нибудь пожива, то для насмешек «шпаны» и «галёрки».

Пишущий эти строки как-то однажды пришёл в очень весёлое настроение по прочтении мартовского «Надгроб-

ного слова». Его потянуло к карандашу и бумаге, и через четверть часа им была набросана карикатура: «Как мыши кота хоронили». Окружающие товарищи нашли идею карикатуры настолько удачной, что потребовали от автора перерисовать карикатуру литографскими чернилами, чтоб в количестве нескольких тысяч экземпляров пустить её в обращение среди партийной публики. Как я ни отнекивался, ссылаясь на свою техническую неумелость по части рисования, мои товарищи по фракции были непреклонны в своём требовании, и мне пришлось подчиниться.

Таким образом появилась карикатура № 1 (из целой серии последовавших затем многих других карикатур): «Как мыши кота хоронили (назидательная сказка. Сочинил не Жуковский. Посвящается *партийным мышам*)».

Состоит она из трёх частей.

I. В первой изображён Ленин с туловищем кота, повисшего на собственной лапке. Вокруг рассыпаны радостно взволнованные мыши (с головами Мартова, Троцкого, Дана, Старовера, Аксельрода, Засулич, Инны Смидович), а во главе их премудрая крыса Онуфрий — Плеханов, появившийся на торжество и сидящий в окне между двумя предательскими дверцами: «Протоколы съезда» и «Протоколы Лиги» (проклятый призрак этих протоколов преследовал несчастного перебежчика, служа ему живым укором совести). Везде в подполье стоят бочонки с надписью: «Диалектика. Остерегайтесь подделки» (намёк на постоянные заявления меньшевиков, а в особенности Плеханова, что только им дано разуть тайны диалектики и ни в каком случае не Ленину с компанией).

Текст под этой первой картинкой гласит следующее:

«Один наш лазутчик (коллега кота) ¹ нам донёс, что Мурлыка повешен. Вzbесилось наше подполье. Вот вздумали мы Кота погребать, и надгробное слово проворно состряпал в ЦО поэт наш придворный Клим, по прозванию Бешеный Хвост.— Сам Онуфрий, премудрая крыса, на свет божий выполз из тёмной трущобы своей (бочонок из-под диалектики служит жилищем ему); и молвил он нам: «Ах, глупые мыши. Вы видно забыли моё *vademecum*. Я старая крыса, и кошачий нрав мне довольно известен. Смотрите: Мурлыка висит без верёвки, и мёртвой петли

¹ Намёк на члена ЦК Носкова.

вокруг шеи его я не вижу. Ох, чую, не кончатся эти поминки добром!!!». Ну мы посмеялись и начали лапы кота от бревна отдирать, как вдруг — распустились когти, и на пол хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались и с ужасом смотрим: «что будет?..»

II. Картина вторая. «Труп» кота лежит на полу. Вокруг него оргия шумного ликования. Плеханов с Троцким, обхвативши друг друга лапками, откалывают канкан под игру Дана на дудке. Мартов с «Надгробным словом» расположился на брюхе у кота.

Текст: «Мурлыка лежит и не дышит. Вот мы принялись, как шальные, прыгать, скакать и кота тормошить. А премудрая крыса Онуфрий от радости, зная, налился хмельного питья «диалектики», так что сразу забыл и про когти Мурлыки...: облапив мышонка, который хотя и не кончил трёх классов гимназии, но к диалектике столь же большое пристрастие имел, как и крыса Онуфрий, и всеми мышами был признан законным наследником крысы; так вот, облапив мышонка, он в пляс с ним пустился под дудку «кота в миниатюре» (извольте видеть — у нас среди «видных» мышей был тёзка кота, чем он очень гордился) ¹. Поэт же наш Клим, на Мурлыкино пузо взобравшись, начал оттуда читать нам надгробное слово, а мы гомерически — ну хохотать! И вот что прочёл он: «Жил-был Мурлыка, рыжая шкурка, усы, как у турка; был же он бешен, на бонапартизме помешан, за что и повешен. Радуйся, наше подполье...».

III. Наконец, финал. Мурлыка ожил:

«Но только успел он последнее слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся. Мы брысь — врассыпную... Куда ты! Пошла тут ужасная травля. Тот бойкий мышонок, что с крысою старой откалывал вместе канкан — домой без хвоста воротился. Несчастная ж крыса Онуфрий, забыв о предательских дверцах, свой хвост прищемил и повис над бочонком, в котором обычно приют безопасный себе находил он, лишь только ему приходилось крутенько. Его ж закадычный приятель — друг с детства — успел прошептать лишь: «Я это предвидел», и тут же свой дух испустил. А «кот в миниатюре» с беднягой поэтом прежде других всех достались Мурлыке на завтрак. Так кончился пир наш бедою».

¹ Тёзка кота — тоже «Ильич» (Федор Ильич Дан).

Карикатура произвела впечатление. Некоторые негодовали, некоторые выражали своё отменное удовольствие. Мне кажется, что чаще улыбались, чем хмуро сдвигали брови. Я уже рассказывал о том, как встревоженная за своего Жоржа добрейшая Роза Марковна снизошла до объяснения со мной возле нашего «Вертепа» (дом, населённый большевиками, на набережной Арвы). Я помню её искреннее возмущение:

— Это что-то невиданное и неслыханное ни в одной уважающей себя социал-демократической партии. Ведь, подумать только, что мой Жорж и Вера Ивановна Засулич изображены седыми крысами... у Жоржа было много врагов, но до такой наглости ещё никто не доходил... Что скажет о нас Бебель? Что скажет Каутский?

— Что же тут особенно чудовищного?..— с улыбкой возражаю я.— Георгий Валентинович и сам большой любитель карикатурно изображать своих политических противников... Это, пожалуй, даже самый безобидный полемический приём...

— Ах нет, нет, вы мне этого и не говорите... И передайте, пожалуйста, вашему карикатуристу... и т. д.

Что же касается самого Плеханова, то он, конечно, не показывал и виду, что эти карикатурные шпильки причиняют некоторые уколы его самолюбию. Я помню только его один отзыв на другую мою карикатуру — «Участок». Это было во время его реферата. Он уже редко (быть может, раз в полугодие) выступал на больших собраниях, и когда это случалось, то послушать его стекалась масса народу. Самый огромный зал в Женеве (так называемый большой зал Handwerk'a) бывал переполнен так, что яблоку негде было упасть. И на этот раз свыше полутора тысяч человек теснилось в зале.

Неизменными посетителями такого рода «больших выходов» Плеханова были анархисты. Они ненавидели Плеханова всеми силами своей анархической души, а тот никогда не отказывал себе в удовольствии подразнить своих исконных антагонистов. Помню, какой шум и гвалт (гиканье, свистки и пр.) раздались после какого-то выпада оратора по адресу анархистов. Казалось, что остановить эту стихию гвалта нет уже никакой возможности. Но со свойственной Плеханову находчивостью он успевает воспользоваться несколькими секундами сравнительного затишья и громовым голосом произнести:

— Если бы мы захотели с вами бороться тем же оружием, то мы явились бы сюда... с сире-е-нами...

Это было так неожиданно и так смешно, что всепримиряющий смех, раздавшийся в зале, сразу успокоил страсти и дал возможность Плеханову продолжить свою речь. Так вот в этот самый вечер Плеханов почему-то вдруг во время своего реферата вспомнил об одной из моих карикатур:

— Я слышал,— сказал он, откинув гордо голову назад,— что за границей ходит по рукам... э... э... сам я не видел, о нет, а только слышал... ходит по рукам карикатура на меня, изображающая меня приставом в полицейском мундире...

Тут у меня сердце так и захолонуло: ну, думаю, как скажет какое-нибудь убийственное крылатое словечко по моему адресу, так словно припечатает: с ним, как с несмыслимой отметиной, я и буду потом носиться до конца моей жизни.

— Но по поводу этой карикатуры я могу только сказать,— продолжил свою мысль Плеханов, заставляя меня ёжиться в ожидании сюрприза,— что я... я полицейского мундира никогда не носил...

Это было произнесено тем тоном гордого смирения, которое должно было иронически подчеркнуть контраст между карикатурной нелепостью и далёкой от неё действительностью. Раздалось несколько хлопков, но я вздохнул облегчённо. Уф, миновало... Жив-жив Курилка... гм... полицейского мундира не носил... Это похоже на бормотание гоголевского персонажа: «и вовсе не остроумно! Разве свинья в ермолке бывает?».

Карикатура, о которой вспомнил Плеханов, была выпущена в свет вскоре после «мышей» и после угроз Р. М. Плехановой дуэлянтскими наклонностями «тамбовского дворянина», но не потому, конечно, что эти угрозы подействовали на карикатуриста как провоцирующий стимул для ответа на них новой карикатурой, а потому, что среди большевистской «шпаны» накопились в большом изобилии новые мотивы для выпадов против новоискровского Олимпа.

Наши попытки отвоевать себе местечко на страницах ЦО для выражения наших, большевистских взглядов терпели жестокое фиаско...— Брысь...— говорили нам презрительно литературные собственники новой «Искры»,

когда мы протягивали к редакции руки с нашими рукописями. Иногда при этом у того или иного из нас спрашивали партийный паспорт:

— Ваше удостоверение личности?.. Потрудитесь предъявить. За надлежащим подписом и с приложением печати...

Требование «паспортов» стимулировало большевистского карикатуриста на выпуск в свет новой карикатуры, изображающей полицейский участок. В исправничком мундире восседает на кресле глава участка и прикрывает своей пятернёй, пряча от нескромных глаз «шпаны», строго секретный документ: Протоколы Совета. Его ближайший помощник углублён в изучение «справки»: «согласно свода законов членами организации именуются те, кои...» Другой подчасок — у телефона. (В этой бойкой фигуре не трудно распознать Троцкого.) «Некто в штатском» всматривается в физиономию «шпаны» и изучает их. А «шпана» (на карикатуре можно найти сходство в лицах с Лядовым, Олиным, Гусевым, Бонч-Бруевичем) обращается по начальству с ходатайством: «Покорнейше просим Вашество поместить наше заявление в «Ведомостях Градоначальства». На стене портреты «самых уважаемых и старейших». В шкафу всё толстотомные дела: «о допросе с пристрастием тамбовского дворянина», «о фальшивом списке», «об установлении личности», «о бонапартизме», «секретное дознание о рассказировании «человеков»»¹, «дело об отдаче под надзор советников Ивановых»², «об изыскании корней и нитей бунтовщицких резолюций», «санит. отдел. Дело об оздоровлении атмосферы», «дело о прикрытии сектантской газеты»³, «дело о разоблачении государственной тайны (имени 5-го члена Совета)»⁴ и т. д.

¹ Меньшевики развели большую демагогию по поводу того, что Ленин, высказавшись в принципе за право ЦК изменять, в случае надобности, состав того или иного местного комитета, якобы намерен «рассказывать человека» в местных организациях.

² Насмешливое щедринское прозвище, данное Плехановым большевикам.

³ Против издаваемой В. Д. Бонч-Бруевичем с разрешения II съезда газеты «Рассвет» редакция новой «Искры» подняла кампанию и требовала закрытия газеты.

⁴ Меньшевики поднимали огромный шум по поводу того, что такой секрет полишинеля, как имя 5-го члена Совета (Плеханова) было печатно разоблачено большевиками.

Я позволил себе перечислить этот огромный ряд «дел», потому что каждое из них связано с каким-нибудь более или менее крупным эпизодом внутрипартийной борьбы.

Пояснение к карикатуре заключается в следующих словах:

«Сценка в «небюрократическом» учреждении.

— Это что такое?.. Действие скопом?.. А ну-тко, секретарь, поспрошай-ка, братец, у этих молодчиков паспорта».



ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

«Мышами» и «участком» не исчерпывалась деятельность фракционного большевистского карикатуриста: потом последовали: «Сизифова работа» (с изображением меньшевистского «болота» и его болотных обитателей, причём Плеханов, прикрываяющий свою наготу только небольшим фиговым листом с надписью «диалектика», совершает бесцельный труд вытаскивания за уши Мартова, совершенно засосанного болотной тинной), затем «Мартов и его тень» и другие.

Одна неизданная карикатура заставила Ильича хохотать до упаду: она изображает двух шедринских мальчиков — в штанах (Гебеля) и без штанов (Владимира

Ильича). Бебель зазывает «мальчика без штанов» в свой фатерланд, чтобы помирить драчунишку с остальными мальчиками, с которыми он рассорился, а верный своей санкюлотской природе мальчик без штанов непочтительно отвечает на это любезное приглашение: «на-тко, выкуси».

По этому поводу следует сказать, что меньшевики, пользовавшиеся своей «вхожестью» в партийные верхи немецкой социал-демократии, всё время (и не без успеха) старались втянуть в качестве судей фракционной российской смуты немецких «именитых» социал-демократов: Каутского, Розу Люксембург и других.

Середина лета 1904 г. была кульминационным пунктом большевистских поражений. Все цитадели перешли к меньшевикам. Владимир Ильич, ещё не окончательно вышибленный из последнего убежища (из ЦК), был отдан под надзор другого представителя ЦК (Носкова), перешедшего на сторону меньшевиков. По части литераторов и ораторов мы были бедны, как испанский гидальго по части золотых монет. Около нашего вождя, ушедшего в себя, замкнувшегося в своём предместье и решительно отказывавшегося от публичных выступлений, сгрудилась небольшая лишь кучка «твердокаменных», готовая бороться до последнего издыхания.

«Но тих был наш бивак открытый...»

Зато у меньшевиков было всё: не говоря уже о партийных центрах, они имели на своей стороне всю литературную партийную братию и огромную аудиторию из «сочувствующей» студенческой молодёжи. Рефераты Мартова, Мартынова и других меньшевистских генералов собирали тысячи из женевских, лозаннских, бернских, цюрихских и из прочих университетских городов «девиц и хлопцев», как выражался насмешливый Галёрка.

К осени появляется на нашем горизонте новый интересный союзник, окрещённый нами тотчас же кличкой «Воинов»¹.

Мы ликуем, а в меньшевистском курятнике большой переполох. И в самом деле — разве можно сколько-нибудь положиться на прочность этой меньшевистской собственности в лице сотен и тысяч населяющих швейцарские университеты интеллигентов и интеллигенточек. Ведь непременно пойдут, каналии. похлопать ушами, послушать

¹ А. В. Луначарский.

«новенького» красная, который, к сожалению, затесался туда, в это презренное партийное «дно»... У большевиков получится праздник на улице...

Не прошло и 3 дней с момента приезда в Женеву т. Воинова, как уж наша братия гордо расклеивала во всех пунктах афишной информации русско-женевской публики широковетательный анонс.

Этот анонс оповещал, что по инициативе фракции большевиков тогда-то устраивается собрание в большом зале Handwerk'a (да, да, чорт возьми... именно в «большом Гандверке», ни более, ни менее...). С рефератом выступит т. Воинов на тему такую-то (сейчас я не помню, на какую именно тему). Плата за вход — 20 сантимов.

В объявлении, кстати, предупреждалось, что президиум будет назначенный от фракции большевиков, и на собрании выбору не подлежит.

Это последнее предупреждение имело очень определённый смысл. Толпа посетителей (главным образом учащаяся молодёжь), на визит которой мы рассчитывали, послушная дирижёрской палочке Мартова и Дана, непременно выберет в президиум каких-нибудь подсказанных ей меньшевиков, и мы тогда будем просто игрушкой в руках наших врагов. Чтобы этого не случилось, мы решились обойтись без такого рода «демократического» момента «свободных» собраний в «свободной» стране, о чём честно заранее предупредили публику.

Меньшевики разволновались, и до нас стали доходить слухи о том, что ими решено сорвать наше собрание. Мы на это отвечали задорным писаревским «посмотрим!».

В назначенный вечер Гандверк переполнился публикой. Все гости очень охотно уплачивали сидевшей у входа с кассовым ящиком Ольге Борисовне Лепешинской свои входные сантимы и скромно занимали места. На эстраде восседал президиум из трёх: П. А. Красилов, В. Д. Бонч-Бруевич и Олин. Лица у них были холодные, суровые, непроницаемые. Более всех волновался сидевший в первом ряду Владимир Ильич. Нужно заметить, что он, не боявшийся никаких грозных и сильных противников, не отступавший ни перед какими опасностями большой революционной борьбы, в то же время обладал одним маленьким недостатком: он пасовал в обстановке мелкого скандала, где действующие лица способны на проявление диких эксцессов, тем менее осмысленных, чем более эти

эксцессы являются характерными для всякого скандала — с его ничегонеразберихой, гвалтом и нарочитой шумихой.

Но что это такое?.. Там у входа уже какое-то недоразумение... Ну, пока что пустяки! Человек 300 меньшевиков во главе со своим предводителем Мартовым врываются в зал и не желают платить входной платы... И не нужно! Приказ кассирше: кто заплатит 20 сантимов не в состоянии, с того платы не требовать... Вход свободный. Появляется на эстраде докладчик. Красиков звонком водворяет тишину и заявляет, что он слово предоставляет референту т. Воинову.

— Прошу слова к порядку,— летит крикливо из того места, которое занял Мартов со своим штабом.

— Слово к порядку предоставляется т. Мартову,— твёрдым, бесстрастным тоном произносит председатель.

— Здесь,— истерически выкликает Мартов,— на территории свободной страны, есть полная возможность... для всякой общественной группы... свободно самоопределяться и выявлять свою волю. И не мы, социалисты... будем вносить в общественные нравы... такой разврат, как назначение президиума собрания. Поэтому я предлагаю прежде всего выбрать президиум собрания.

Красиков в коротких и отчеканенных выражениях объясняет Мартову, что, не касаясь приведённых оратором принципиальных мотивов о неуместности или недопустимости собраний с назначенным президиумом, он напоминает только, что принятый здесь порядок собрания был предreshён заранее, о чём все были предупреждены своевременно и могли совершенно свободно сделать свой выбор: или пойти на такое собрание — с назначенным президиумом или же, считая для себя этот порядок собрания неприемлемым, на него не пожаловать. Поэтому он, ограничиваясь этим разъяснением и считая вопрос исчерпанным, предоставляет слово для доклада т. Воинову.

— Товарищи и граждане,— выступил Воинов.

— Нет, этому не бывать... Такого собрания мы не допустим,— завопили меньшевики.

И вот начался дебош. Триста глоток отверзлось и стало орать во всю мочь: Га-га... га-га... га-га... Какой-то коренастый рыжий детина с наружностью Вельзевула, явившийся с огромной клюкою, для усиления шума начал со всего размаха стучать этой клюкою о пол. Тов. Воинов стоит в позе принца, скучающе посматривающего на

зрелище, которое устроено в честь его приезда. Лица трёх членов президиума всё так же холодны и бесстрастны. Ильич, видимо, волнуется... С выражением безразличия и тревоги на лице он время от времени подходит к эстраде и настаивает на том, чтобы объявить собрание закрытым. И каждый раз получает в ответ непреклонное:

— Ни за что...

Хозяин Гандверка погасил в зале четверть электричества. Меньшевики устали и на минутку стихли...

— Слово для доклада предоставляется т. Воинову,— снова объявляет Красиков.

— Товарищи...— раскрывает рот Воинов.

— Га-а-а-а-а...— вспыхивает волна гвалта с новой силой, и снова клюка рыжего детины работает вовсю.

Хозяин Гандверка погасил ещё четверть электрических лампочек.

— Да закрывайте же собрание...— ещё раз требует Ильич,— разве не видите, что мерзавцы сорвали...

— Ни за что...— звучит упрямое словцо с эстрады.

Очень может быть, что, развёртываясь дальше в таком же направлении, естественный ход событий привёл бы к естественному финалу. В зале потухло бы всё электричество, и публика в панике стала бы разбегаться. Но тут случилось одно маленькое обстоятельство, которое, весьма вероятно, повлияло на инцидент в благополучную для нас сторону: пишущему эти строки пришлось на мысль показать скандалистам высшую степень своего презрения.

Он взял со стола лист бумаги и карандаш и с высоты эстрады стал всматриваться в интересную даль; изображая на лице весёлую улыбку большого любителя такого рода живых жанровых картинок, щуря свои глаза и якобы изучая позы меньшевиков, он начал бегать карандашом по бумаге, словно зарисовывая интересную сценку. Нервный, истеричный Мартов не выносил тех форм насмешки, в которых он сам не мастер... Он боялся карикатуры на него.

Так это или не так, но только факт тот, что когда карандаш Олина стал подозрительно прыгать по бумаге, а прищуренные, смеющиеся глаза карикатуриста начали нагло ощупывать фигуру Мартова, этот последний не выдержал и бросил лозунг:

— Товарищи! над нами здесь издеваются... Я предлагаю всем, уважающим своё человеческое достоинство гражданам, сейчас же покинуть этот зал...

Мартов решительными шагами направляется к выходу. Вслед за ним движется его трёхсотголовая преторианщина.

А в зале водворилась тишина. Хозяин гостиницы снова дал полное освещение. Вся толпа гостей, очевидно чуждых понимания своего гражданского и человеческого достоинства, предпочла остаться на своих местах.

Снова, и в последний раз, Красиков всё так же холодно-бесстрастным тоном объявил:

— Слово для доклада предоставляется т. Воинову.

И т. Воинов, выступивший во всём блеске своего художественно-образного и красиво-музыкального ораторского искусства, скоро очаровывает аудиторию... Реферат закончился бурными аплодисментами по адресу докладчика.

Была чудная лунная ночь. Не хотелось возвращаться домой. Наша большевистская компания ещё долгое время бродила по улицам красивого, чистенького городка, безмятежно уже спавшего и населённого кружевными грёзами снов в своих мещанских альковах. И мы радостно болтали, упиваясь своей победою.

Большевики решили от обороны перейти к нападению. Актуальным лозунгом для них явился клич — «борьба за III съезд». Время галёркинской брошюрочной полемики прошло. Пора было подумать о своём собственном фракционном органе, который можно было бы противопоставить меньшевистской «Искре». Большевики, чуя опасность, стараются заигрывать с большевиками и устраивают несколько совместных общих собраний с тем, чтобы попытаться «договориться». На этот раз большевики не уклоняются от вызова и смело идут в «бой». И какие это были блестящие моменты наших побед и одолений! Великолепные, точные, отчеканенные формулировки Владимира Ильича и блестящие фейерверки политической мысли Воинова положительно расстраивали ряды меньшевиков. Большевистские лидеры скоро догадались, что запугать большевиков расколом и заставить их отказаться от создания своего большевистского органа им всё равно не удастся, а перебежчиков в большевистский лагерь после такого рода дискуссий будет становиться всё больше и больше.

И вот на этот раз уже не нами, а нашими противниками совместные дискуссии снимаются с очереди дня. «Делайте, что хотите, а нам с вами, мол, не по дороге».

Дальнейшая борьба между двумя фракциями лучше всего отражается на страницах, с одной стороны, «Искры», а с другой — большевистского органа «Вперёд», который после III съезда, с 1 мая 1905 г., уступает своё место новому ЦО партии — «Пролетарию». Иначе говоря, официальное значение «Искры» как ЦО партии с момента III съезда аннулируется, и фактически, поскольку две фракции противостоят друг другу, у большевиков, считающих себя после III съезда выразителями интересов партии в целом, есть собственный ЦО — «Пролетарий».

Поэтому живописать или просто характеризовать фракционную борьбу между большевиками и меньшевиками в конце 1904 и в 1905 г. следовало бы не языком меуариста, а выписками из органов этих фракций, что совершенно не входит в мою скромную задачу.

Расскажу, впрочем, только ещё один эпизод, имевший место в начале 1905 г., по которому читатель сможет составить себе окончательное представление о нравах и обычаях фракционной заграничной борьбы среди социал-демократов того времени — борьбы, которую задержать или смягчить не могла уж никакая революционная стихия.

Однажды я рано поутру отправился с корзинкою покупать мясо для нашей большевистской столовой. Купил и возвращаюсь назад. В лавчёнках появилась в продаже утренняя газета («La Suisse», — женеvская, так сказать, «Биржёвка»). Покупаю и разворачиваю, чтобы, идя своим путём-дорогою, пробежать ленивыми глазами очередной номерок швейцарских кумушкиных сплетен. Но что это такое... У меня в глазах темнеет, и ноги подкашиваются... Не сплю ли я... Не галлюцинация ли это зрения. На первом месте крупными буквами напечатано:

«La révolution de la Russie».

Событиям в России посвящена целая страница с телеграммами, напечатанными жирным шрифтом.

— Да что же это такое?.. Да неужели же?..

Голова кружится, словно после «залпа» хмельного напитка. Руки и ноги дрожат. Бегу торопливо домой, на ходу прочитываю газетку. Речь идёт о нашем знаменитом 9 января. Толпы движутся по Невскому. Бойня. Сотни убитых.

— Да, это начинается она... — шепчут побелевшие губы. — Это... революция...

Дома жена ещё в постели.

— Да что с тобою... у тебя такой странный, расстроенный вид...— встревожилась жена.

— На... вот... читай...— прерывающимся голосом произношу я, бросая ей газету, и сам опускаюсь на стул.

Она прочла и тоже разволновалась: и всплакнула, и затанцевала на босу ногу, и прокричала ура. Но так как в натуре у всех живых, экспансивных людей — давать выход своим эмоциям в каких-нибудь действиях, у неё тотчас же родилась в голове идея: во что бы то ни стало опередить меньшевиков и эсеров, пока те ещё будут раздумывать, что им предпринять, и обойти как можно скорее и как можно больше кварталов с подписным листом: «на русскую революцию». Для этого нужен только бланк с партийной печатью. Наша экспедиция его, конечно, выдаст. Нельзя только терять времени: ни четверти часа, ни минуты, ни секунды.

Она быстрее, чем при пожаре, одевается, бежит в экспедицию, получает подписные листы, прихватывает двухтрёх сподручных большевиков (или большевичек), и вот уж они мчатся по улице, заходя из дома в дом. Во многих случаях их встречают довольно-таки сурово, но в общем и целом в это чудное утро даже женевский мещанин склонен был либерально расчувствоваться перед тем грядущим великим нечто, что так странно и загадочно выглядывало из-за этой необычайной комбинации слов: «*La révolution de la Russie*».

Так или иначе, но обегав в течение 2—3 часов главные фешенебельные улицы Женевы, жена успела собрать по подписке около двух или трёх тысяч франков. Когда спохватившиеся меньшевики вздумали было пуститься по её следам с намерением тоже постричь немножко женевскую буржуазию, было уже поздно. Недоумевающий буржуа очень подозрительно встречал новых пришельцев и заявлял, что у него уже были русские революционеры, и он отдал уже свою дань сочувствия русской революции.

К столовой между тем стали стекаться толпы взволнованных эмигрантов. У всех на руках «*La Tribune de Genève*», которая выходит 5 раз в день и заставляет жадного на новости читателя раскошелиться на «презренные» су, давая надежду в следующем номере получить какое-нибудь новенькое, свеженькое, дополнительное телеграфное сведение по интересующему его вопросу. Все ходят, словно пьяные. На лицах блаженные улыбки. Всё чаще и чаще

слышатся (и не только среди большевиков, но и меньшевиков) такого рода речи:

— Довольно с нас распрей. Время уже поднять знамя бунта против наших вождей... Там ведь льётся на улицах пролетарская кровь, а мы здесь будем заниматься подсиживанием друг друга... Будем грызться из-за всякой ерунды... Стыдно!.. Срамно!.. Пора опомниться... Да здравствует единая русская социал-демократия!..

Да и мы, ближайшие товарищи Ильича, сами заразились общим настроением.

— Владимир Ильич! мы к вам за советом. Дан от имени меньшевиков предлагает устроить совместный митинг. Идти или не идти на это?

— Гм... боюсь данайцев, даже приносящих дары...

— Но, позвольте, Ильич. На нас, на русских, смотрит сейчас вся Европа... И неужели же мы даже в виду баррикад не сможем протянуть друг другу руку... Ведь теперь даже и с эсерами можно оказаться по одну сторону поля битвы.

— Во-первых,— поспешил расхолодить наш пыл Ильич,— ваше конкретное предложение сводится к вопросу о встрече с меньшевиками здесь, в женевском зале Гандверка, а не на баррикадах Петербурга; во-вторых, до баррикад ещё как будто и на улицах Петербурга дело не дошло; а в-третьих, откуда у вас, милые люди, такая уверенность, что на этот раз меньшевики вас не надуют, как надували уже десятки раз и как будут надувать и впредь.

— Ильич,— строго заговорил я, взяв на себя миссию «уломать» нашего «упрямца».— Момент единственный в своём роде, захватывающий... Братские руки протягиваются навстречу друг другу с обеих сторон. Козни Мартовых и Данов не смогут сыграть большой роли. Огромная толпа рядовых социал-демократов требует мира. Если мы будем неуступчивы, то эта толпа пройдёт мимо нас...

Владимир Ильич, наконец, сдался.

— Ну что же... производите опыт соглашения, но только по крайней мере поставьте свои условия. Заключите с меньшевиками письменный договор примерно такого рода: во-первых, председательствовать будет лицо, достаточно беспристрастное к участникам; во-вторых, от каждой социал-демократической группы — от большевиков, от меньшевиков, от Бунда, от латышей и от Польской социал-

демократической партии выступит только по одному оратору; в-третьих, в речах ораторов должна совершенно отсутствовать явная и скрытая фракционная полемика; в-четвёртых, сбор с митинга делится между участвующими в нём социал-демократическими группами поровну; в-пятых...

Одним словом, мы получили от Ильича самую подробную инструкцию, как действовать и на каких условиях заключать «альянс». Немножко это расхолаживало наш «объединительный» порыв, но не беда. Начнём с дипломатических актов, а кончим, быть может, общим полным слиянием на русских баррикадах. Меншевики пошли на все наши условия. Председателем — Дан совершенно с этим согласен — нужно избрать действительно такое лицо, беспристрастие которого в глазах всей окружающей толпы было бы выше всяких подозрений. И имя такого лица, по мнению Дана, само собою напрашивается на уста каждого: это имя — Веры Засулич, прародительницы русской социал-демократии, святой женщины, которой в уважении не осмелится отказать не только друг, но и враг и т. д. и т. д.

— Гм... гм., — думалось мне, — в «беспристрастии» Веры Засулич мы имели уже достаточно случаев убедиться за прожитый нами период кооптационной свалки. Но кого же вместо неё выдвинуть? Бундовца? Латыша? Поляка?..

Меншевики и слушать об этом не хотят. Ведь Вера Засулич есть Вера Засулич, имя которой говорит очень много всей революционной Европе. И какие тут могут быть сомнения? Все остальные пункты соглашения приемлемы, и для митинга имеются налицо все благоприятные ауспиции.

После долгих, бесплодных прений наша делегация (я и ещё кто-то — не помню уже кто именно) уступает. Пусть будет так, как на том настаивают меньшевики: вручим судьбу нашего митинга почтеннейшей Вере Ивановне Засулич. Будем надеяться, что всё сойдёт благополучно. Ведь момент-то, момент-то какой!.. Неужели же и сейчас мы не выдержим экзамена на аттестат революционной зрелости?!

Митинг собрал колоссальную толпу слушателей. Ильич впервые, после длительного периода воздержания от посещения всякого рода больших митингов с выступлением

меньшевиков¹, на этот раз сделал исключение из общего правила и скромненько уселся с нами где-то в задних рядах.

Первым выступил Мартов. Он никогда не был особенно красноречив, а на этот раз почему-то оказался ниже даже своего обычного уровня. Тема не полемическая, а общереволюционная. И вот ему не хватает привычных законченных формул, привычных остроумных словечек. Вяло и скучно тянется его длительное слово, прерываемое иногда большими паузами, когда под язык оратора не подвёртывается подходящего словца. Но он всё-таки честно выполняет условия договора и полемических выпадов против большевиков не делает. Говорил, говорил, наконец, кончил, получил от благодарной и ещё более того — благодушной аудитории свою долю аплодисментов и сошёл с трибуны.

Вслед за ним выступает Воинов. Незадолго перед началом митинга Ильич уединился с ним в отдельную комнату и с полчаса дружески побеседовал на тему о том, с чем и как ему, т. Воинову, выступать на предстоящем митинге. Тов. Воинов тоже не вышел из рамок общереволюционной темы. Но какая великолепная, ослепительная, брызжущая яркими образами и в то же время проникнутая чувством художественной меры речь... Зал задрожал от бурных рукоплесканий, когда Воинов бросил в аудиторию свою последнюю фиоритуру. И эти аплодисменты долгое время не смолкали.

Но что это такое?.. Дан торопливо подходит к Засулич и о чём-то ей нашёптывает. И вот «святая» Засулич, олицетворение беспристрастия и нейтралитета, объявляет:

— Слово предоставляется т. Дану...

— Что же это в самом деле,— спрашиваем мы тихо друг у друга с широко раскрытыми от изумления глазами.— А договор-то как же? Смешной клочок бумажки, что ли?.. Вот так союзники перед баррикадными боями!..

Для чего же взял слово Дан? Очень просто: чтобы восстановить нарушенное равновесие. Слишком уж ярко вырисовался большевистский оратор на фоне мартовской

¹ Единственный митинг, который вся русская граница традиционно чтит и на котором бесспорным властителем дум был Ильич,— это день 18 марта, в память Коммуны, когда никто другой, как только Владимир Ильич volens-nolens должен был выступать перед полутысячной толпой.

ораторской убогости, и Дану это, повидимому, показалось большою несправедливостью злодейки-судьбы.

И вот, как крыса, монотонно и упорно прогрызающая где-то подполье, чтобы добраться со своими зубами до мешка с фасолью, он начинает нанизывать бисер сереньких, но правильно построенных фраз с очевидным намерением прогрызть большевистский мешок с мукою и по возможности опустошить его. В его речи цинично выступает форма скрытой, т. е. анонимной, полемики. «Вам иногда приходится слышать от некоторых ораторов», «некоторая часть социал-демократии придерживается того неправильного мнения»... «есть идеологи, готовые доказывать»... И всё намёки и намёки (даже не очень тонкие) на только что выслушанную аудиторией речь Воинова.

Ильич не выдержал, наконец, состояния терпеливого и молчаливого свидетеля этого наглого издевательства над нашей доверчивостью, встал со стула и тихо сказал нам:

— Идёмте, товарищи!.. Нам здесь делать нечего...

Нечего и говорить, что на наше требование отдать нам из общей кассы причитающуюся нам по договору долю сборов с митинга меньшевики реагировали насмешливым отказом:

— Зачем же,— получили мы в ответ ироническую фразу,— и ваша доля, и наша доля — всё это пойдёт на общее дело революции... Можете быть совершенно спокойны на этот счёт...



МОЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И МОЁ АМПУА ЗА ГРАНИЦЕЙ

(1904—1905 гг.)

Хочу рассказать читателю, как мне лично удалось устроиться в новой обстановке, в заграничном — полуфранцузском, полурусском городке, лавочники которого бойко торговали в значительной мере благодаря обилию эмигрантской русской публики, но который не очень стал бы защищать неприкосновенность того или иного из пользующихся его гостеприимством пришельцев, если бы русское правительство протянуло за ним лапу и потребовало себе выдачи беспаспортного «преступника». Для этого мне необходимо вернуться к началу моего женеvского периода жизни.

Приехавши в Женеvу, я тотчас же обзавёлся новеньким, свеженьким болгарским заграничным паспортом. Такого рода болгарскими паспортами спешила заручиться вся русская эмигрантская богема, и они котиrowались на женеvском рынке по 4 франка штука. Правда, я успел сильно повредить благоприличной внешности моего паспорта своими корректурными попытками: мне, изволите видеть, не очень нравилось то обстоятельство, что по паспорту у меня значились «очи чорні» (с переводом по-французски — *les yeux noirs*), что совершенно не соответствовало моим серовато-синим глазам; поэтому *noirs* под моим пером очень быстро превратилось в *bleux* (с оставлением болгарского термина «чорні» без изменения), причём это *bleux* вышло так аляповато, что неумелость моей фальсификации пришлось позорно скрыть под покровом большой,

якобы случайной чернильной кляксы. Но что за беда! Всё-таки я был не беспаспортным бродягой, и в случае чего мог гордо сунуть под нос полицейскому агенту удостоверяющий мою личность «законный» документ.

Случился, однако, один из тех эпизодов, который по капризу слепой фортуны чорт знает для чего и зачем нарушает иногда покой порядочного человека.

В Женеву приехал (кажется, в феврале или в марте 1904 г.) один студент-лесник — насколько помнится — Никита Алексеев, красивый белокурый юноша с тихим, задумчивым лицом, который отыскал меня и попросил поспособствовать ему получить из нашей экспедиции некоторое количество литературы для провоза в Россию.

Так как всегда была опасность, что какой-нибудь меньшевик или лицо, послушное воле меньшевиков, может злоупотребить нашей доверчивостью, я не дал никаких определённых обещаний моему клиенту, а предложил ему зайти денька через два, после того как я наведу нужные справки, какую именно литературу и на каких началах мы могли бы предоставить в его распоряжение.

Студент ушёл. А на другой день по Женеве распространился слух, что какой-то русский, конспиративно, с оглядкой пробираясь через швейцарскую границу около Салева (в 4 верстах от Женевы), возбудил своим видом подозрение швейцарских жандармов, и когда те поспешили за ним вдогонку, он вынул револьвер и пустил себе пулю в висок. Когда я услышал об этом, у меня сердце ёкнуло. Уж не тот ли это красавец-юноша с меланхолическим лицом, который давеча был у меня. Вечером того же дня ко мне в комнату является швейцарский агент тайной полиции, и отрекомендовавшись, спрашивается у меня, кто я такой.

— Je suis... je suis... — залепетал я смущённо, — bulgare... э-э-э —...

Ах, чорт возьми, я забыл, кто я такой, и стал быстро рыться в кармане, отыскивая свой болгарский паспорт.

— Voilà! — вздохнул, наконец, я облегчённо. — Je suis Alexandre Nikitoff, le sujet de le Bulgarie...

Сыщик взял в руки мой документ и прогулялся по нём своими внимательными глазами. После этого он спросил меня, не знаю ли я некоего Никиту Алексеева.

— Non, je ne sais pas...

Он назвал другое какое-то имя, которое ещё меньше говорило моему уму и сердцу, и я снова решительно заявил: — Нет, не знаю... Решительно не знаю...

Сыщик стал пояснять мне, что неизвестный юноша, по видимому русский, застрелился на швейцарско-французской границе. При нём нашли чемоданчик с заграничной русской литературой, две тысячи рублей золотом, два паспорта и несколько адресов, а в том числе и адрес моей квартиры. И если я не знаю имени этого несчастного, то, может быть, я узнаю его в лицо. Поэтому он предлагает мне отправиться с ним в морг.

В морге среди нескольких трупов я скоро узнал при свете тускло освещавшей комнату лампы того самого юношу, с которым недавно разговаривал. На бритой половине головы зияло небольшое отверстие, пробитое пулей. Лицо было величаво, спокойно, и всё так же красиво. Мысль невольно уносилась туда, в тот далёкий край, где бедная мать юноши, которая, должно быть, с такою любовью гладила эти мягкие, длинные, пушистые, цвета зреющей пшеницы волосы, сейчас, вероятно, не думает и не гадает, что её несчастное детище, ставшее, быть может, жертвою психического заболевания, так глупо погибло на чужбине и лежит теперь в мертвецкой среди грязных трупов очередных жертв голода и болезней — этих обычных спутников жизни общественного дна всякого большого города.

— Ну что же, не узнаете? — прервал мои мысли агент.

— Знать не знаю и ведать не ведаю... (non, je ne sais pas... absolument), — поспешил я с обычным ответом всех русских, приученных подлым политическим режимом своей страны уклоняться не только от объяснений по поводу своих деяний, но и от свидетельских показаний.

С тяжёлым чувством я вернулся домой. Мой покой был нарушен. Фиктивный болгарский паспорт мой вряд ли показался агенту полиции достаточно благополучным документом, и я рискую быть разоблачённым как эмигрант. А с эмигрантами швейцарское правительство не очень-то церемонилось, и в лучшем для них случае высылало их за пределы Швейцарии, а не то и просто выдавало их России по требованию русского правительства. Я махнул рукой и стал ждать естественного хода событий...

Скоро после этого приехала моя жена из России.

Вот что ей, между прочим, пришлось пережить после моего отъезда из Минусинска. Она выдержала в Минус-

синске 18 дней тайну моего отъезда за границу. Наконец, когда однажды к ней явилась местная жандармерия с обыском (по поводу какой-то разбросанной по городу Минусинску прокламации, в авторстве которой был заподозрен я), она при виде жандармов сначала было совсем упала духом: сорвалось, дескать... арестован... (а я в это время пробирался ещё к границе). Но как только выяснилось, что жандармы, повидимому, и не знают о моём исчезновении, она повеселела и соответственным образом обнаглела:

— А на каком основании вы являетесь ко мне на квартиру с обыском? Где у вас предписание делать обыск именно у меня?..

— Не к вам-с, сударыня, пришли, а к вашему мужу...

— Но ведь я вам уж сказала, что это моя квартира, а не мужа...

— Хе-хе-хе... Муж да жена, знаете ли... в некотором роде одно и то же-с...

— Ройтесь, если вам угодно, но знайте, что вы совершаете незаконное деяние...

Жандармы стали шарить. Наконец, жандармский офицер догадался её спросить:

— А кстати, где же ваш муж?..

— Это я у вас хотела спросить: не знаете ли вы, где теперь мой муж?

— Как так?..— оторопел жандарм.— Надеюсь, он в Минусинске...

— Не думаю... Два или три дня тому назад он уехал отсюда... в Томск, лечиться... Ему там должны сделать операцию...

— Да знаете ли вы,— привскочил жандарм,— какие скверные последствия ожидают его за эту самовольную отлучку?..

— Что же поделаешь... Вы бы его скоро не отпустили... А когда приходится выбирать между репрессиями и смертью, тут уж люди не рассуждают.

Сбитый с панталыку жандарм быстрёхонько обратился в бегство, извиняясь, что он действительно попал как будто бы не по адресу.

Денька через два в Минусинск пришла из Вены телеграмма: «Почём рога маралов»¹. Эта условная теле-

¹ Маралы — порода сибирских оленей, ветвистые рога которых очень ценились и на заграничном рынке.

грамма означала, что я уже там — за рубежом, вне пределов жандармской досягаемости. Обрадованная жена поспешила действовать: сейчас же отправилась на телеграф, чтобы телеграммой, посланной в томскую клинику с запросом о ходе моей операции, усыпить внимание минусинских встревоженных властей, продала книги и кой-какой скарб, чтобы иметь в руках нужную для отъезда сумму денег, получила даже от одураченного полицейского чиновника полагавшееся на неё и на дочь месячное пособие и — давай бог ноги. Всякое промедление и задержка в Минусинске угрожали ей очень скверными последствиями, ибо пресловутый сибирский палач Кутайсов (иркутский генерал-губернатор) шутить не любил и при обнаружении обмана отправил бы в Якутку вместо беглеца несомненную участницу в этом «преступлении» — его жену.

В Петербурге она успела получить заграничный паспорт и весьма своевременно проскользнула через границу: через два дня после её отъезда из Варшавы к моей сестре, жившей там, явилась полиция с целью узнать, не обретается ли у неё О. Б. Лепешинская, которую департамент полиции требует немедленно «задержать»...

Итак, я снова не одинок, снова со своим лучшим другом, готовым делить со мною все невзгоды жизни.

Но, спрашивается, как и чем мы будем жить, спасая и самих себя, а главное — наше детище от перспективы очень голодного существования? Как разрешим сложную проблему заработка в этой чуждой нам стране, которая очень сурово относится к иностранцам — конкурентам на рабочем местном рынке, да ещё при этом плохо знающим её язык.

Попробовала было жена присоединиться в качестве «компаньонки», а проще сказать — прислуги к каким-то жалким содержателям русской столовой, собиравшей у своего обеденного стола $1\frac{1}{2}$ —2 десятка голодных желудков. За гонорар в форме обеденной порции она должна была по нескольку часов в день употреблять на то, чтобы жарить, варить, мыть посуду, подтирать пол и выполнять тому подобные трудовые задания. Такое решение вопроса казалось ей настолько неудовлетворительным, что она не могла остановиться на нём и естественным образом дошла до мысли вступить на путь самостоятельного предпринимательства в этом же роде. Первый маленький опыт в данном направлении вполне удался. Можно было рискнуть

и на расширение предприятия, выйдя за пределы «конспиративного» кормления нескольких человек знакомых у себя на дому. И вот она, прихватив свой заграничный паспорт, отправляется в женевский муниципалитет выхлопотать себе право на официальное открытие столовой.

По законам «свободной» Швейцарии женщина ограничена в своих гражданских правах, в том числе и в праве на «établissement», т. е. на устройство промышленного заведения, и только глава дома (отец или муж) мог своим разрешением открыть дорогу её творческой инициативе в этом направлении.

— А где же ваш муж? — спросили у жены женевские чиновники, просмотревши её паспорт.

Со свойственной ей экспансивностью она возьми вдруг да и ляпни:

— Мой муж... гм... он здесь проживает...

— По нашим законам требуется от него разрешение... Он чем же занимается здесь?

— Ничем... он политический эмигрант...

О, в какое затруднительное положение были поставлены представители женевской власти! Они не знали, как справиться с этим парадоксом жизни. С одной стороны, глупое правительство такой варварской страны, как Россия, наделило «замужнюю», т. е. «зависимую», женщину самостоятельным законным видом на жительство, в то время как богом данный ей муж, её глава и господин — беспаспортный жалкий эмигрант, а с другой стороны, это противоестественное положение совершенно не мирится с швейцарским взглядом на природу отношений между мужем и женой...

Думали они, думали, как тут выйти из затруднительного положения, и, наконец, решили *узаконить* моё пребывание на территории Женевы (выдать временное *permis de séjour*, т. е. право на жительство), лишь бы только не допустить того, чтобы женщина помимо своего мужа получила свободу на самостоятельное распоряжение своими силами. Вместе с *permis de séjour* я был восстановлен в своих правах мужчины, могущего разрешить или запретить своей жене заняться желательным для неё делом.

И вот ко мне является чиновник, чтобы снять с меня подробнейший допрос: откуда я родом, каким образом

попал в Швейцарию и т. д. Полицейский чиновник оказался тем самым агентом, с которым я не очень давно имел дело в качестве обладателя болгарского паспорта. Ни единый мускул не дрогнул на каменном лице моего посетителя, когда я открыл ему дверь, и только один ус чуть-чуть насмешливо пошевелился...

Для столовой жена отыскала подходящее помещение на rue de Garouge — значительных размеров комнату с витринами во всю наружную стену (очевидно, помещение, предназначенное для солидного магазина). Тут же при ней была и комната для жилья — с традиционным альковом, а также и кухня с угольной и газовой плитой.

Для обзаведения и для найма этого помещения нужна была значительная сумма денег, но не помню уже кто ссудил жене эту сумму на началах постепенного погашения долга. Имея в виду лично от столовой воспользоваться только приютом и обедом для себя и семьи, жена условилась с нашими партийными верхами, что весь излишек дохода, буде таковой окажется, она будет отдавать в партийную кассу, а самое-то главное — так это то, что отныне у большевистской фракции был собственный пункт для собрания её членов.

Не было того часа, чтобы в столовой не толкалась публика. Кружковые занятия, заседания женевской большевистской группы, собрания фракции, доклады и рефераты, рассчитанные на аудиторию 70—80 и во всяком уже случае не свыше 100 человек, вечеринки «с буфетом» и т. д. и т. д. — всё это делало нашу личную жизнь при столовой довольно-таки кошмарной. Никак не удавалось изолироваться и в той комнатке, которая была для меня и жены нашим личным убежищем. Когда жена, раздосадованная однажды постоянным стуком в дверь нашей комнаты в ожидании привычного «entrez», стуком то одного, то другого из сотен вертевшихся около столовой дорогих наших товарищей, попробовала было вывесить объявление: «просят не беспокоить и в дверь не стучать», гости стали подавать о себе знать иным манером: перестали стучать, но начали царапать в дверь...

И всё-таки сознание того, что наша столовая обслуживает интересы большевиков и выполняет существенную функцию сборного места для всевозможных целей фракции, мирила нас с этими неудобствами, к которым мы, впрочем, в конце концов приспособились. Я по утрам обык-

новенно шагал с корзинкою примерно за версту от столовой, к нашему «придворному» поставщику мяса. После долгого опыта я научился, наконец, отличать «фоскот» от «ромштека» и с честью выполнял возложенную на меня функцию. Жена с утра, бывало, вертится около плиты, затем, как угорелая, во время обеденного часа носится от кухонной плиты к обедающим и обратно, пока не насытит 70—80 голодных желудков, после чего торопится привести посуду в порядок и в 2 часа, считая себя свободной от своей «службы», мчится на велосипеде в университет, где она продолжает изучать свою медицину. А по субботам она даже позволяет себе и такую роскошь, как отправление с какой-нибудь компанией велосипедистов в дальнее путешествие вплоть до понедельника (по воскресеньям столовая для обедающих не работает) — куда-нибудь на Юру, или на Монблан, или просто вокруг Женевского озера. Наша маленькая дочурка совершенно офранцузилась, охотно торчит в своей школе (собственно говоря, в детском саду) или же пропадает целый день на улице, изредка лишь забегая домой... А я либо забираюсь в нашу партийную читальню, либо иду в редакцию «Вперёд» — выправить корректуру очередного номера, либо закатываюсь на какое-нибудь собрание.

В связи со столовой мне вспоминается один эпизод — более комического, чем трагического свойства. Быть может, не стоило бы и воскрешать его на страницах этой книги, если бы не одно обстоятельство: соучастником «драмы» был, между прочим, и Владимир Ильич, относительно которого каждый, даже самый мелкий, факт, в той или иной мере характеризующий его индивидуальность, представляет особый интерес. «История» возникла из того, что моя жена, крайне переутомлённая хлопотами и работой по кухне, решила пригласить к себе за плату на 2 часа в день в качестве помощницы какую-то madame — местную аборигенку. Почему-то Пётр Ананьич Красиков в одну из минут дурного расположения духа, а может быть, и после какого-нибудь конфликта с не очень-то сговорчивой и уступчивой Ольгой Борисовной, вздумал однажды в компании каких-то юнцов подвергнуть сомнению этическое право хозяйки социалистической столовой пользоваться наёмным трудом: «рабовладелица», мол, которую нужно пригвоздить к позорному столбу или подвергнуть бойкоту.

Можете себе представить бурную реакцию негодования со стороны обиженной О. Б. на это «покушение с негодными средствами» на её доброе социалистическое имя. К третейскому суду «наглеца»! Сейчас же, немедленно — и больше никаких!..

Должен, однако, признаться, что и я не остался равнодушным зрителем разыгравшейся «трагедии». Я близко принял к сердцу обиду жены и взял на себя представительство её интересов, энергично требуя от обидчика третейского разбирательства.

Помню — поздний вечер. Ольга Борисовна, расстроенная и даже прихворнувшая, рано легла в постель. Мой маленький голубоглазый киндер-лебен не спит и настойчиво требует от меня очередной сказки на сон грядущий. Я сердито отмахиваюсь от докучливой девчонки, ибо мне вовсе не до семейных идиллий: голова моя полна мечтами о том, как я тонко и умно уничтожу на суде супостата, как отбрею его, каналью. Вдруг — стук в столовую. Кого это несёт в такой поздний час? Иду, отпираю дверь — и широко открываю глаза: передо мною сам Ильич!..

— Очень рад... садитесь, Ильич!.. Не хотите ли чайку?.. Живо вскипачу...

Но Ильич пришёл по делу, от угощения отказывается и предлагает поговорить относительно недоразумения с Красиковым: стоит ли, дескать, затевать какую-то судебскую канитель и шумиху на радость и потеху меньшевикам?..

Моя душа переполнилась чувством обиды и горечи. Дрожащим голосом я доказываю Ильичу, что по адресу моей жены, которую, как всем известно, нельзя упрекнуть в корыстных предпринимательских мотивах, обвинение в рабовладельческих замашках настолько непереносно, что пусть товарищеский суд решит, заслужила она такое оскорбление или нет...

Быть может, в течение получаса Ильич тщетно уламывал меня, предлагая взглянуть на дело проще: ну сболтнул лишнее человек, а всё-таки в словах его нет ничего такого, что могло бы быть рассматриваемо, как *corpus delicti*. Я стоял на своём: с точки зрения моей доверительницы непереносно, дескать, и дело с концом!..

Многотерпеливый Ильич не отказывался, однако, от надежды выйти победителем и в этом случае. Незаметно для меня он успел подменить жгучий вопрос об оскорблён-

ном чувстве человеческого достоинства Ольги Борисовны (а отражённо — и моего) теоретическим вопросом о том, можно ли формы экономической зависимости наёмного работника от нанимателя характеризовать термином рабства, как категорией понятия, универсально охватывающей мир общественных отношений не только в эпоху Гомера, но и в рамках капиталистического общества. Я поймался на эту удочку и горячо стал доказывать, что одно дело зависимость только экономическая, а другое дело — порабощение личности человека... Этого Ильичу только и нужно было. На мою голову дождём посыпались ссылки и на Маркса, и на Энгельса. Через 10 же минут после моего рокового вступления на этот скользкий путь теоретической дискуссии я был так припёрт к стене, что должен был капитулировать и сдался на милость победителя. Тотчас же у нас состоялся компромисс: от мысли о третейском суде я отказался за какой-то сомнительный суррогат извинения, преподнесённый мне Ильичём от лица Красикова, а этот последний на другой же день «для пользы дела» был отправлен Ильичём на длительную побывку в Париж. Вечер закончился шахматной партией, после чего Ильич с ласковым выражением глаз крепко пожал мне на прощание руку.

Нужно ли прибавлять, что моя доверительница, с нетерпением поджидавшая в своей каморке конца нашего разговора с Ильичём, встретила меня градом упрёков, как предателя её нравственных интересов, и никак, упрямая женщина, не хотела взять в толк, что по Марксу и Энгельсу, а также по всем законам гегелевской диалектики между дядей Томом из романа Бичер-Стоу и её помощницей француженкой никакой принципиальной разницы нет...

Наша столовая выполняла и ещё одну важную функцию. Женевская администрация считала её центром русской эмигрантской жизни и привыкла смотреть на меня и на мою жену, как на официальных лиц, через которых можно разрешать все недоразумения, касающиеся русской колонии. Очень часто, например, случалось, что какой-нибудь Михайлов с нетерпением ждёт денежного письма из России. Письмо, наконец, приходит, но на имя не Михайлова (эмигрантский псевдоним, под которым адресат живёт в Женеве), а на имя Иванова (действительная фамилия адресата). Почтальон становится втупик и

письма не выдаёт Михайлову, несмотря на все его жалобные просьбы, ибо на конверте ясно написано *roug m-g Ivapoff*. Спор переносится в нашу столовую, и уже от меня (или от жены) целиком зависит разрешить своим категорическим утверждением спорный вопрос. Большинство же писем прямо так и посылалось на нашу столовую. Или, например, если какая-нибудь юная студентка, впервые попадавшая в Женеву, растерянно спрашивала у вокзального начальства, где ей найти приют и как ей ориентироваться в новом незнакомом городе, её уверенно посылали на *gite de Saigouge*, в русскую столовую.

И всё это сложилось как-то само собою, выросло на почве создавшихся около столовой традиций, без каких бы то ни было формально закреплённых её прерогатив, её прав или обязанностей.

Нельзя не упомянуть здесь о нашей библиотеке и читальне, точно так же как не вспомнить добрым словом и большевистского представителя технически-организационного партийного дела В. Д. Бонч-Бруевича было бы грешно. Поэтому скажу несколько слов об этом последнем. Для меньшевиков В. Д. Бонч-Бруевич был объектом самых яростных и самых «весёлых» (а проще хулиганских) насмешек. Уж если улюлюкали, если сочиняли стихи на «Бонча Центрального», если злословили с большим усердием, чем обычно, — то это как раз и означает, что Владимир Дмитриевич не был серенькой, незаметной фигурой, мимо которой враг проходил бы с равнодушным презрением. И действительно роль его в большевистском лагере была не маленькой.

Не очень сильный теоретик марксизма, склонный к преувеличению роли некоторых идеологических моментов в жизни масс (например, сектантского движения среди русского крестьянства), он был в то же время великолепный практик, которому можно было давать сложные организационно-конструктивные задания с уверенностью, что он их выполнит. Не нужно было только всерьёз брать его иногда слишком фантастических и утопических узоров мысли... Но на известный, вполне достаточный процент реального осуществления его утопических планов всегда можно было рассчитывать. И вот в соединении с безусловной преданностью партийному делу, в комбинации с той душевной чистотой, которая всегда была ему присуща, — его деловитость была неоценимым свойством.

Скоро после приезда в Женеву я нанёс визит ему и Вере Михайловне, с которыми познакомился впервые. За стаканом чаю, в процессе болтовни я выбросил мимоходом ту мысль, что грешно нам, женевской эс-дековской колонии, не обзавестись своей собственной партийной библиотечкой и своей читальней. Набросал по этому поводу несколько красивых импровизаций-проспектов. Владимир Дмитриевич подхватил мою идею и вознёс её на какие-то недостижимые для моего воображения высоты. По его словам выходило, что если мы сейчас от слов перейдём к делу, то в очень короткое время мы будем иметь у себя нечто вроде Британского музея. Я ещё тогда не привык к этой его манере гипертрофировать свои мечты и не брал нашего разговора всерьёз. Но он на другой же день стал уже суетиться около этой новой для него заботы.

Объявление, обращённое ко всем товарищам за границей и в России с просьбою присылать имеющиеся у них книги, документы, рукописи, партийные издания, революционные реликвии и т. п. для создания партийной библиотеки и архива в Женеве, возымело своё действие. Многие из товарищей, уезжавших из Женевы в Россию, охотно несли остатки своих книжных богатств в нашу библиотеку. Великолепно знакомый с книжным рынком и нюхом чуя те места, где есть какая-нибудь пожива, Владимир Дмитриевич обшарил всю Женеву и в конце концов действительно создал нечто интересное.

Правда, наш «Британский музей» не вышел за пределы одной комнаты, но эта комната вся наполнилась книжными полками во всю стену, причём среди книг попадались редчайшие революционные издания. Несколько шкапов нашего «Архива» были полны революционными документами, рукописями, прокламациями и т. д. А в соседней обширной комнате помещалась недурно обставленная читальня, в которой можно было найти всевозможные газеты на различных европейских языках и главным образом, конечно, на русском. И всё это без единой копейки из партийной кассы, а путём бесконечного, систематически-упорного напоминания о себе разным редакциям, организациям или отдельным лицам, на что Владимир Дмитриевич был великим мастером.

Правда, пользование библиотекой (не читальней — она была бесплатной) было поставлено на «коммерческих» началах, и всякий абонент должен был знести за чтение книг

свой франк в месяц. Но, ведь, без этого обойтись было нельзя, потому что в противном случае не на что было бы переплести истрепавшуюся книгу, нечем было бы заплатить за помещение для библиотеки и читальни. А между тем эта «коммерческая» сторона деловой партийной работы как раз и служила предметом самых пренебрежительных отзывов со стороны меньшевиков. «Пхе... Это — не экспедиция партийной литературы, а какая-то торгашеская лавочка... Не партийная библиотека, а мелкопробная афера... Пожалуйте-с... Наш товар, а ваши денежки... Прикажете завернуть?..»

Но как ни издевались господа меньшевики над Владимиром Дмитриевичем, а всё-таки благодаря ему мы развили своё партийное фракционное издательство в меру наших литературных сил и возможностей, мы смогли выпустить в свет «Вперёд» и «Пролетарий», смогли издать брошюру Ленина «Шаг вперед, два шага назад», брошюры Галёрки, Рядового и пр., смогли, наконец, выпустить в свет «Протоколы III съезда», и если бы кто мог гордо сказать про себя: «я сделал, что мог; пусть другие сделают лучше», — так это именно В. Д. Бонч-Бруевич, которого в данном отношении решительно нечем было бы заменить.

Не знаю, может быть потому, что сам я совсем не практик, но такие редкие экземпляры в нашей партии (в те далёкие времена, о которых идёт речь), как В. Д. Бонч-Бруевич (а отчасти и Ольга Борисовна Лепешинская) — быстрые, ловкие, иногда просто гениальные в своих ролях, вызывали всегда во мне огромное уважение к этим их ролям, и обнаруживавшееся иногда по их адресу презрение со стороны «паразитирующих» на счёт их же творческой практической работы мне казалось более чем незаконным. Как бы то ни было, но наша партийная экспедиция с её издательскими функциями, с одной стороны, библиотека и читальня — с другой и столовая — с третьей были основной материальной базой большевистской работы за границей. Около этих центров группировалась значительная часть нашей идеологической работы.

Я здесь не упоминаю об огромной работе, в центре которой стояла Надежда Константиновна Крупская, по организационным сношениям с комитетами и русскими практиками (мобилизация партийных сил, посылка из-за границы товарищей в Россию, шифрованная переписка — по

300 писем в месяц — и т. д. и т. д.). Но об этой стороне интенсивной партийной работы в Женеве должна поделиться с «читателем-другом» сама Надежда Константиновна, на которой, собственно говоря, и лежала вся тяжесть этой положительной работы. Вообще было бы в высокой степени неправильно думать, что, кроме полемики с меньшевиками, большевистская заграничная фракция того времени ничего другого не выявила. Помимо тех налётов на положительную работу, которые имеются и в настоящем очерке, более полное понятие об этой работе современная молодёжь могла бы составить себе по рассказам тех товарищей, которые эту работу выполняли. Я же в своих воспоминаниях более подробно останавливаюсь лишь на том, что ближе всего находится в поле моего зрения.

Если мне лично и удавалось развёртывать свои силы в том или ином направлении, то в значительной мере благодаря тому, что налицо были реальные предпосылки, без которых нельзя было бы далеко уйти в этой работе. Так, например, я облюбовал себе работу по организации и сплочению женевской большевистской группы. В нашу организацию вошло несколько десятков человек. Ежедельные собрания группы могли иметь место только потому, что было налицо своё собственное помещение для собраний.

Группа ставила перед собою целый ряд практических, просветительных и политических задач. К числу практических задач прежде всего принадлежала проблема помощи нашей голодной и холодной эмигрантщине. Ольга Борисовна Лепешинская взяла на себя задачу организации «эмигрантской кассы». Скоро чердак нашей столовой наполнился целыми горами всякой рухляди, присылаемой жертвователями-«филантропами» чуть ли не с разных концов Европы на потребу эмигрантской голытьбы. Наша публика до такой степени привыкла тащить в свою эмигрантскую кладовую всё, так сказать, имевшее тенденцию «плохо лежать», что на этой почве получались иногда забавные *qui pro quo*¹.

Я помню, как однажды приехавший за границу представитель литературных интересов Горького, Л. Андреева и К^о — некто Ив. Ив. Л. поручил эмигрантской кассе доставить его чемоданы с вокзала к нему на квартиру. Де-

¹ Недоразумения.— *Ред.*

журные товарищи отправились на вокзал и затем по недоразумению завезли вещи приехавшего в Женеву джентльмена в нашу столовую. Мгновенно «на добычу» налетеластая голытьба, побрякивая от удовольствия при виде такого небывало щедрого пожертвования. Тотчас же началась делёжка «дара»... Шум поднялся невообразимый... Кто примеривал брюки из тонкого английского сукна, скидывая со своих «циркулей» какую-то «систему заплат», напомиनावшую карту С.-А. С. Ш. Кто принаряжался в великолепный бархатный жилет, кто натягивал на свои плечи чёрный фрак, кто находил для себя необычайно «кстати» головной убор в виде высокого цилиндра... Олину попали на глаза какие-то толстые словари, которые после этого в одно мгновение ока были унесены в партийную библиотеку и проштемпелёваны библиотечной печатью... Одним словом, в течение 5 минут чемоданы барина были опустошены, и по улице уже тянулась вереница счастливых в обновлениях.

Идёт в это время по той же улице собственник чемоданов и диву даётся: — Что за чорт!.. Прошёл какой-то странный джентльмен, напоминающий обитателя Хитрова рынка, но в роскошном цилиндре, очень похожем на его собственный цилиндр. А вот и другой оборванец — в бархатном жилете знакомого цвета и фасона... Какие удивительные бывают на свете совпадения!..

А это что такое? Необычайно важно по тротуару проследовали его собственные серые брюки... Он не решился с ними загсворить, но если только это не галлюцинация, то... то это вообще чорт знает, что такое... Какая-то гофманская фантазмагория, и больше ничего...

Когда недоразумение выяснилось, и все наши товарищи были разысканы и собраны в столовой на предмет «разоблачения» — разочарование было полное: английские брюки уступили своё место Северо-Американским Соединённым Штатам, голова, недавно украшенная элегантным цилиндром, снова вошла в соприкосновение со старым своим знакомцем — бесконечно засаленным картузишком, бархатный жилет с удовольствием юркнул на дно родного ему чемодана, будучи брошен чьей-то раздосадованной рукой, и т. д. и т. д. Так нашей эмигрантской братии приходилось иногда падать с небесных высот восторженного упоения на землю — эту юдоль скорби и плача. А всё-таки спасибо «кассе», благодаря её деятель-

ности иной бедняк мог прикрывать свои плечи каким-нибудь стареньким пальтишком и получать несколько франков в месяц на пропитание¹.

Просветительная деятельность группы заключалась в систематических занятиях с кружками рабочих или полунинтеллигентской молодёжи. Кроме того, постоянно организовывались рефераты товарищей Орловского (Воровского), Олина, Гусева, а изредка и Воинова.

Политическая роль группы выражалась в обсуждении общей политической ситуации, в борьбе с другими фракциями, в устройстве больших рефератов Ленина или Воинова и в созыве съездов представителей от различных большевистских групп за границей.



Весной 1905 г., вскоре после январских событий, я уехал нелегально работать в екатеринославский комитет. Чтобы не оставлять совершенно пробела об этом периоде своей жизни, я два-три слова скажу и о нём.

Душой работы в екатеринославском комитете (большевистском) была т. «Маша», она же «Наташа» (Серафима Ильинична Гопнер). Она являлась организующим началом.

Меня пытались использовать не столько для организационной работы и не для пропагандистской среди рабочих, сколько для идейного руководства по вопросам фракционной борьбы, которая в Екатеринославе так же свирепствовала, как и в других комитетах. Изредка меня выпускали и для разговоров с либералами. Помню, например, как однажды Маша мне объявила, что соберётся человек 100 интеллигенции и будет ждать каких-нибудь выступлений от нас.

Я принял предложение выступить экспромтом с докладом по крестьянскому вопросу. Явились мы на «именинный пирог». Действительно, «чистой» публики (чуть ли не фразичной) — видимо-невидимо. Я излагаю наш партийный взгляд на аграрный вопрос и на судьбы крестьянской революции. Моим оппонентом выступает известный Караваев.

¹ Главным источником заработка коллективно организованной эмигрантской группы был транспорт вещей с вокзала или на вокзал.

— Всё, что мы слышали от референта,— это не ново. Достаточно прочесть статью Ленина... книжку к деревенской бедноте... и т. д. и т. д. Нам не нужны общие рассуждения на принципиальные темы... Нет, вы нам конкретно расскажите, как всё это произойдёт, какова будет конкретная картина грядущей революции. Ведь вот, возьмём для примера хотя бы пресловутые отрезки.

И пошёл, и пошёл «чесать».

Моя дальнейшая роль оказалась не неблагоприятной. Если реферат действительно не был слишком блестящим по содержанию, то Караваев своими возражениями дал богатый материал для ответа ему с указанием, что «старые трафареты» по Ленину для него, Караваева, должны казаться достаточно ещё свежим источником для размышлений, ибо, судя по тому сумбуру в его голове относительно природы крестьянской революции, образчик которого он только что представил, ленинские «трафареты» ему придётся ещё изучать и изучать. Наука эта ему ещё, видимо, не далась. Завязалась «оживлённая» дискуссия. Мы всласть наспорились с либералами и с честью удалились с «банкета».

Прошло месяца два-три моей нелегальной работы в Екатеринославе. Хотя провокатор Самуил Чертков (впоследствии проваливший весь комитет) ещё и не успел поставить нас под знак катастрофы, но я чувствовал, что слишком засиделся на одном месте. Однажды меня останавливает дворник нашего дома и спрашивает:

— Господин, а господин, чи верный это у вас документ?..

— Ка-ак?..— восторженно воскликнул я.— Что за вопрос?.. Почему так неверный?..

— Да вот околоточный приходил и допытывал...

Я решил дальше не медлить. Скоро Надежда Константиновна меня вызвала обратно за границу, и я благополучно снова проследовал знакомыми уже мне нелегальными путями в свою Женеву.

* *
*

1905 год прошёл за границей весь под знаком революционного угара. Даже III съезд и меньшевистская конференция потонули в волнах революционного шквала, не по-

глотив всего того внимания партийных элементов, на которое, казалось, они имели право. Чем ближе мы были к октябрю, тем всё более и более назревала у нас потребность собираться в Россию. А пока что мы пробавлялись митингами с речами.

Приходилось в качестве «тоже оратора» выступать иногда и мне (правда по большей части не по доброй воле). Помню, как однажды ко мне является бернский студентик с разочарованной миной.

— Вы т. Олин? — спрашивает меня.

— Да, я... Чем могу быть полезным?

— Вот вам записка от Ленина... Из неё узнаете, в чём дело.

Записка гласила (привожу её по памяти): «Тов. Олин. Немедленно поезжайте с подателем сего в Берн. У них праздник 14-го июля, большое собрание и нужен кто-нибудь для выступления. Я поехать не могу. За 4 часа пути у вас есть время обдумать вашу речь».

— Да,— говорю я студенту.— Владимир Ильич посылает меня к вам в Берн для выступления... Но ведь какой же я оратор?..

— Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь... Публике был обещан Ленин, но ничего не поделаешь... Он категорически отказывается... Раз он указывает на вас, то он знает, кого посылает...

Как достаточно дисциплинированный солдат революции, я могу реагировать только безусловным исполнением требования начальства. Еду в Берн. Выступаю перед огромной праздничной аудиторией, и, кажется, недурно выступаю. Темой своей речи я взял оценку в ходе революции того момента, когда армия начинает колебаться и готова перейти на сторону народа. Между прочим, я сопоставил последние события в России, охваченной стихией восстаний, с Великой французской революцией.

Публика выслушала речь выписанного из Женевы оратора и благодушно похлопала. И юноша, привезший меня, одобрительно кивнул головой.

— Ничего, мол, сошло...

* *

*

После 17 октября все видные деятели нашей партии сейчас же укатили в Петербург. Остальные должны были отъезжать маленькими группочками, установивши очередь (так как партийных средств не хватало удовлетворить потребности всех как можно скорее вернуться в родной край для новой работы).

Жена, однако, успела ликвидировать столовую, и мы, таким образом, получили возможность в конце 1905 г. двинуться в Россию.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оглядываясь сейчас на пройденный мною путь, вижу, как этот путь последовательно и неуклонно вёл меня от этапа к этапу в сторону революционного марксизма; мне посчастливилось пройти основательную школу ленинизма — в значительной мере под непосредственным руководством самого Владимира Ильича.

Ренан говорил про себя, что если он когда-нибудь заговорит языком религиозно-верующего человека, то это значит, что его можно уже увозить в сумасшедший дом. Нечто подобное я готов сказать и относительно себя: если моя мысль перестанет быть созвучной учению Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, если я когда-либо изменю своей благоприобретённой природе большевистского мышления (надеюсь, что на самом деле эта опасность мне не угрожает), то это будет означать, что я выхожу в тираж как живая человеческая личность.

Но дело, пожалуй, не в моей скромной персоне, которую я и не имел в виду выпячивать в своих воспоминаниях, а в той среде, в том революционном горниле, через которое должно было пройти всё наше поколение ленинцев, так сказать, первого призыва, — поколение когда-то молодых наследников революционного движения предыдущих десятилетий. Пройдённая этим поколением серьёзная школа политической борьбы с врагами пролетариата на всевозможных фронтах, эта школа революционной

теории и практики, овеянная гением ленинской мысли, закалила дух большинства из нас и научила держаться правильного курса в жесточайшей борьбе большевистской партии со всеми разновидностями внутрипартийного оппортунизма, начиная от блаженной памяти «экономизма» и кончая всеми другими антипартийными уклонами.

Одна из моих задач, которые я ставил перед собою при написании настоящей книги, как раз и сводилась к тому, чтобы в меру моих сил и умения дать современному молодому читателю некоторое живое представление о тех делах давно минувших дней, о той вообще исторической обстановке, на фоне которой вырастала старая большевистская гвардия. Каждому представителю этой группы людей есть о чём порассказать, когда он начнёт в своей памяти перелистывать страницы своей красочной жизни.

Интересное десятилетие 1895—1905 гг. (кстати сказать, самое красочное в подпольный период моей жизни по богатству впечатлений от встреч на моём пути с наиболее яркими и крупными фигурами, выражавшими интересы различных политических партий и фракций) в общем и целом освещено нашей исторической литературой, не в пример последующим периодам, сравнительно недурно. Дело же мемуаристов — вспомнить ценные подробности этой красочной полосы и сухие страницы исторических очерков дополнить живыми красками личных впечатлений и личных переживаний. С этим делом нужно торопиться, ибо мы, старые большевики, «покорные общему закону», как-то обидно-быстро сходим с жизненной сцены. Смерть с каждым годом вносит всё большие и большие опустошения в наши поредевшие ряды. А вместе с «уходящими» опускается на дно Леты и всё то поучительное, что они могли бы порассказать молодым поколениям. И если эта книжка возбудит хотя бы у некоторых старых большевиков аппетит к мемуарному творчеству и стимулирует их на аналогичную работу, то я с чувством полного удовлетворения скажу:

— Это именно то, что и требовалось доказать.



СОДЕРЖАНИЕ

К 4-му изданию книги П. Н. Лепешинского «На повороте»	5
Гимназические и студенческие годы	7
Первая серьёзная проба сил (1894—1895 гг.)	21
Первая тюрьма (1895—1897 гг.)	42
По дороге в Сибирь. Первая половина ссылки (1897—1898 гг.)	63
По соседству с Владимиром Ильичём (1899 г.)	89
На своём посту (в Пскове, 1900—1902 гг.)	117
В разгаре работы. Снова тюрьма и ссылка (2-я половина 1902 и 1903 гг.)	138
Побег за границу. О Плеханове. Мои первые женевские впечатления (конец 1903 и начало 1904 г.)	158
Большевизм «на ущербе» (1-я половина 1904 г.)	173
Наши акции поднимаются (1904—1905 гг.)	193
Моя личная жизнь и моё амплуа за границей (1904—1905 гг.)	212
Послесловие	231



Редактор *М. Гильгулин*

Оформление художника *С. Сергеева*

Технический редактор *Н. Трояновская*

Ответственный корректор *Я. Кононович*

Слано в набор 14 февраля 1955 г. Подписано в печать 10 марта 1955 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Физ. печ. л. 7¹/₄. Условн. печ. л. 11,89. Учётно-изд. л. 12.
Тираж 150 тыс. экз. А01062. Заказ № 121. Цена 4 р. 25 к.

Государственное издательство политической литературы,
Москва, В-71, Б. Калужская, 15.

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

Ap. 25 n.